И. ЭРЕНБУРГ

НЕПРАВДОПОДОБНЫЕ ИСТОРИИ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

НЕПРАВДОПОДОБНЫЕ ИСТОРИИ

1/3890

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

НЕПРАВДОПОДОБНЫЕ ИСТОРИИ



FLEGON PRESS
LONDON

40B Greek Street,
London, W.1.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Зная некоторые свойства, присущие природе человеческой вообще, а ныне особливо явственные, считаю необходимым честно и прямо предварить:

Книга эта не «политика», не отображение Великой Российской Революции, не хвала, не хула: выкраивать из нее цитаты, удобные для брюзжания злободневного, значит пренебречь ее скромным именем — в палатах судейских щеголять неправдоподобными показаниями.

Это не листы истории великих лет — нет, просто и скромно, петитная ерунда, сноски неподобные, сто придаточных предложений без главного, межскобочное многословие.

Жизнь идет с трубным зыком, с железной утробой,идет самая мудрая, самая высокая — жизнь с веселым ломом в руке. Да простит она (она, а не вы, и не вы!) что, на минуту отойдя в сторонку, пролопотал я о всяких заковырках на ее пути, о подвижнице Дуняше из запоздавших Четьи-Миней,о сомнениях тех новых, коим сомневаться вовсе нельзя, о титаническом соре, о крохотной трагедии. Простит, поплачет, а все же возьмет добрую метлу.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

Собственно говоря,во всем виновата гадалка Квачка. С утра ничего, как все, регистраторша в «Москвотопе», исходящие записывает мелкой вязью, и ссорится с товарищем Гузиным, который пайки выдает — кому к октябрьским праздникам по фунту мяса, а Квачке колбасы — без сомнения собачина. «Вот все доложу Исполкому : и как Гузин карамель, три штуки, в брючный карман усунул, и как билет в Камерный дал курьерше Марусе вне очереди, только за некоторые стоянки в корридорчике, все, все открою». Словом, до четырех Квачка честная гражданка, и ничего такого не чувствуется. К вечеру же в ее комнатке начинается непотребное, а именно Квачка за продукты открывает судьбу, причем сама ворует, скулит, пляшет от избытка с притоптыванием, несмотря на формальное запрещение домкома. Даже комиссар приходил, важный,сахарную голову принес, а Квачка ему пакостей насказала: «Опился керосином,все нутро сгорит, а на ощупь станешь тоненький, слизкий, как «американский житель», понапыжишься чутку, декрет выводя, пикнешь и вовсе издохнешь».

Не понравилось, пригрозил даже суеверия извести. Но Квачка не боится, где только у нее нет друзей бескорыстных. (Гадает с 5 до 8, а после от гадания утешает всячески.)

Раньше гадала на гуще. Но всем известно — советский кофей не что иное, как горелая морковь, гуща крупная, неповоротливая, и не то чтоб откровений, даже намеков от нее никаких не дождешься. Зато колода карт старень-

кая, с королями не упраздненными, все скажет — и когда в «железкоме» паек за февраль месяц выдадут, и как Лидочке фрукта Пилина к попу приманить, ибо хитрый, «религия — опиум» бубнит, а сам, времени не теряя, безо всяких норм цапает, и даже откуда Спаситель придет, не вообще, а в частности, то есть Государь по закону, который ныне в лесу за Обью зябнет и ежевикой прокормляется.

Вот к этой самой Квачке пришла на беду, в прошлый четверг, губастая Дуняша, по записям оффициальным «инвалид труда», но как и прежде месящая тесто в кухне Брынзова, по дороге вынося горшки деток Брынзовских и разглаживая юбку самой. Работы прибавилось, раньше были еще и кухарка Фекла, и горничная Матильда, а теперь Дуняша«за все». Дело простое — прежде Брынзов хапал на поставках, в бирже, и еще честно, неторопливо присовокуплял акции рудников и сахарные, (ох, до чего сладенькие!). Хапает и теперь, но быстро, с опаской в «главке», да «николаевские» скупает у запасливых барынек, коим уж не до запасов, хлеба купить не на что. Как видно Брынзову не так уж плохо,ибо Дуняша не только хлеба в печку ставит, но и булочки — (масла то сколько на сдобу!), кулебяки древние с прослойками, пыжики финтифлюшистые. Да и самой Дуняше грех на что пожаловаться, если бы не думы всяческие, длинные, непосильные, уж когда все пироги готовы, все юбочки разглажены. И зачем заставили только эту бедную голову, с седенькими, жидкими волосиками, на которые без изводу, скромненько идет пол ложечки господского льняного маслица, столько думать, будто она начетница многодумная, а не Дуняша вовсе?

Первая дума о сыне Васе, Васеньке, Васильке. Ох,темная каморочка под лестницей у господ Селиверстовых на Якиманке, Гришка лакей с позументами, да что с позументами, с зубами точеными. Устоять ли девченке? И мармелад тут, и клятвы клятвенные и портрет с нее сделать обещался. Как ни страшно было, а Дуняша к бабке

Шабловской, что с гвоздем промышляет, не пошла,и сыночка в Воспитательный не сбыла, а пристроила в Челицы, что под Серпуховым, и платила за него по два целковых в месяц. Девять лет Васе исполнилось когда свела его Дуняша к парикмахеру Фердинанду,то есть к Трюхину земляку. Не брить конечно, а волосы заметать, и в субботу при стечении большом собственноручно щеки мылить, пока освободится мастер надлежащее соскрести

Но кто попутал, а только чудные вещи заерзали в голове белобрысой, недолго мылил, а месяца три спустя к весне сбежал, ни Трюхину, ни матери слова не сказавши. Выла Дуняша, да так голосисто, что четыре места пришлось переменить. Ходила и на гулянья к Девичьему, и на богомолье к Преподобному — не повстречала нигде Притихла, но не смирилась. Где его найти? Встретит — и то не узнает. Вот отметка есть, так и та скрытая. Под левым соском у Васи большое родимое пятно, красное, точно бубен с карты. Дуняша просила даже Трифона, младшего дворника — «в бане ежели увидишь на груди бубен — тащи его — не иначе мой будет». Но охота ли Трифону ходить, глядеть, не его кровь, ведь. Жив ли Вася? Может, как ставить свечу за здравие,только душу его томить в небесах? Батюшка, отец Афанасий наставлял не смущаться, молиться о здравии, и о победе христолюбивого, ибо по годам должен быть Василий воином. А теперь то не словил ли дьявол дитя несмыслящее, вот ведь сын лавочника Перлова, бессребренника, трудничка Божьего, стал, господи огради и помилуй! большевиком большущим,так когтями окаянными и загребает души.

Вот и вторая дума Дуняши,первой не легче, о нестроении страшном, о всех мытарствах церкви православной. Под самую душу подкопались баламуты!

Ходила Дуняша на Зацепу, против рынка видала портрет самого главного губителя, в очках на нитке, смотрит в бок, ухмыляется через бородку — скольких русаков загубил, Ирод! Слыханное-ди это дело, чтобы карточки

и те с печатью антихристовой, так и прожигают руки письмена нечестивые. А тут еще носи их в давку на груди, к сердцу поближе, чтоб не выкрали, сокровище какое! Отец Афанасий и не то говорил — нечестивцы мощей святителя Фрола коснуться осмелились, но не допустил Господь — послал на глаза затмение. Которые монахи и достойные молельщики узрели телеса нетленные и из чрева проросший злак златоносный. А саранча рыжая только и увидела, что чучело с паклей.

Все знает Дуняша, как Никола на Спасских паскудную пелену прервал, и как святая голубица с Чудова влетела в нечистое становище и крылышками повергла каменное идолище усатое, громадное, коему отрекшись поклоняться должны все переписанные. И ее, Дуняшу, переписать хотели, так она в чуланчике с углем на черной лестнице упряталась, всю ночь пролежала, чихнуть не осмелилась, лишь внутри повторяла «Отче Наш».

А с четверга прошлого новое горе. Гостиную Брынзовых нехрист большевик, гуляя по лестнице, мимоходом реквизнул, и немедля переехал, притащив пол пуда бумаг, да рожи поганые всего воинства сатанинского. У Дуняши сладеньким голосочком молоточек попросил, рожи тотчас по стенкам развесил, а икону — не выдержал — убрать приказал, от ликов Козьмы и Демьяна дух захватывало у семени бесова. И какая жена низкоутробная могла породить такого блондинистого гада? А то еще уставится на Дуняшу желтыми глазищами, так, что у нее ноги подкашиваются, и шепотком завлекает на погибель: «Товарищ, кипяточку бы!..» Знает Дуняша, что послан к ней гонец адов, искуситель последний, к великим мукам готовится.

Вот соблазнилась, пошла к Квачке судьбу попытать, свой паек, — четверку песку, принесла. Квачка сразу поняла главное, а именно коту желтоглазому, точь-в-точь блондинчик, крикнула: «брысь, бесстыжий, изыде из обители, ишь наблудил, пузан, кружку молока вылакал, тыщу, можно сказать, слизнул, да не расчихался». По-

том,плюнув на кончики пальцев, колоду разметнула веером, и не вглядываясь в карты, одну выхватила, затопала, топ, топ, на месте заходила, голосом из живота, в ухо Дуняше дунула: «Судьба твоя — бубновый валет, к последнему искусу готовься!»

Кто не знает, что бубновый валет карта мирная, хорошая, веселые хлопоты означает? Но Квачка на то умна и хитра, о карты мозоли не зря натерла, не на карту смотрит, а внутрь куда-то, ничего от нее не скроется. Объяснить же Дуняше не захотела, ругнула только на прощанье: «песок желтый, подмокший».

Дуняша всю дорогу думала — как понять трудную карту? Бубны масть ясная, Божья масть, не пики-же какие-нибудь, у Васи на сердце бубен, да хранит его Заступница! А валет весь на жильца недоброго смахивает, усики — крысьи хвостики. От кого же судьбы ждать: от голубка своего весточки, или, от этого, коготь черный, карточку припечатанную?

А проходя мимо Волхонки , увидала Дуняша новую пакость. Со стены глядел голый мужичище густо кубовый, и в красных пятнах, будто в аду его раки клещами щипали, а из пупа у него рос третий глаз большущий и рыжий. Грешник верно, печатник старший. Вкруг картины народ толпился. Подошла Дуняша: «Что, мол, здесь произошло?» А старичек очкастый, знает его Дуняша, был он прежде сидельцем в Охотном, прочел степенно : «Выставка Бубновый Валет». И пояснил в снисхождении: «то и есть ихний водитель». Услыхала Дуняша, не упала на земь не вскрикнула даже, помолилась в душе, чтобы скорее судьба пришла, не томила бы так. Ибо знала ныне, что неминучее грядет.

И точно, на следующее утро все началось. Блондин позвал, так, будто невзначай, карточки свои из домкома попросил взять, а ему мол некогда, на комиссии спешит. «Вы уж, товарищ, за меня распишитесь в конторе».

Смекнула Дуняша — подступает. «Я, господин, то-есть товарищ, этому не обучена вовсе». — «Как?» — «Да, так

просто. В чистоте соблюла душу». — «Вам, товарищ, тогда в Ликбес пойти придется». — «И гвоздики ваши под ногти забейте, воля ваша, а к бесу на поклон не пойду». Рассмеялся блондин, веселый уж больно, объяснил, не к бесу итти нужно, а в школу, такое постановление Ликбеса, то-есть «Комиссии по ликвидации безграмотности». Ученье свет, вот что. Сам он тоже неученным был, из дому сбежал, книжки читать начал, до всего допер своим собственным. Вот и адресок школы, недалеко, на Коровьем валу, в бывшей чайной Янтарева (помер Пров Тихонович, не дожил до поруганья этого!) Дал записочку, пригрозил — «сами не пойдете, милицейский с ружьем поведет». Кинулась Дуняша к Брынзовой: «барыня, голубушка, спасите от большевика меня! Так то и так то». Брынзова сама струсила: «ты меня барыней не зови, «товарищем» что-ли, не то, неровен час, живо скрутят. А помочь тебе я не могу! У меня, глупая, в сейфе брошка пропала, восемнадцать каратов, вот как! Да что тебе, не в чеку ведут — в школу, делать нечего — иди, учиться не учись, а сиди тихонько в углу и всячески потворствуй».

Что-ж, пошла Дуняша, от положенного не укроешься. Глядит, сидят бабки, старенькие, мшистые, у одной зуб на вершок в бок пророс, у другой из уха рощица кудрявится, старички тихенькие, залежалые, а наверху, как в балагане мерзкое изображенье выведено, а под ним девчонка юркая, стрижка и в военной куртке, бесстыдница! Идет же вовсе нехорошее. Девчонка ручкой машет, как жезлом, а богаделки и старцы смирненькие за ней гнусавят: бы! . . а! . .ба! . .» Почести то идолу воздают!

Сидит Дуняша и трясется — в своей плоти в преисподние вошла. А девченка к ней: «Вы, товарищ, новенькая? Повторите — бы . . . а . . » Вскочила Дуняша, истошно завопила: «Не подведете меня к присяге. Смерть приму, а сквернословить не стану!» Любила Дуняша чистоту до нельзя — наследить в комнате за страшный грех почитала. На что кротка со скотами была, а и то кота Мурзу утопить хотела, когда он в кабинете, на персидском

ковре лужу напрудил. Но здесь не стерпела — прямо в середину плюнула: «отрекаюсь от царствия вашего! Знаю теперь, кто водит вами — у нас на Успенском поселился. Так что терзайте меня, а в Бубнового Валета этого, в усища его тухлые три раза плюю!» Прокричав — выбежала.

Домой не пошла. Дома блондин. Небось все знает, схватит печать свою, припечатает за волосы и погибла душа без покаяния. Нет у нее орудия, кроме креста нательного, слова такого не знает. Вспомнила о приятеле давнем, советчике премудром, об Иване Кузьмиче. Хоть далеко до Дорогомилова, мигом добежала.

Иван Кузьмич прежде золотошвеем был, эполеты делал, на звездочки умилялся — «премудрость небес, маяк волхвов, уменьем своим на плечи достойные низвожу». После же, как пошли бунтовать, когда скатились золотые звездочки с погон последнего генерала — всплакнул, но не возроптал, обратился к светилам нетленным и занялся апокалипсом. Никто лучше его толковать не умел и кладезь распечатанный и жену, облаченную в Солнце и всех коней по череду. Утречком скупал он у рабочих завода Гивартовского дрожжи краденные и продавал их на Смоленском. Вечерами же толковал и советовал. Рассказу Дуняши Иван Кузьмич сильно обрадовался: «В середу запрошлую видел я уже предзнаменованье, хоть и не русого, а черного, как уголь, но твоего душегуба. Знаю многое и тебе открою. Ты, Евдокия, — Юдифь, словом Божьим сокрушишь Олоферна, кой в мерзости и блуде пресмыкается. Державу спасешь Российскую, Святую Церковь оградишь. Готовься, Евдокия, к свету подвижническому, зрю венчик вокруг влас твоих!»

Встала Дуняша, поклонилась в пояс «недостойна я сего, Иван Кузьмич, под Успенье молочка откушала, грехи довлеют многие».

Но нет, Иван Кузьмич знает, не зря такие слова говорит — на Дуняшу пала честь сладчайшая поразить врага рода человеческого, пострадать за многогрешный мир.

Жилец, блондин, он же валет бубновый, не кто иной,как

черт. Но не с голыми руками пойдет на него Дуняша. Есть у Ивана Кузьмича орудия многие — крестики, ладонки, пришептывания. Вовсе не так уж силен черт, есть и у него слабости всякие, надо лишь знать. Легче всего одолеть черта, когда он махонький. Рожки у них прорезываются и хворь находит — прыщи и размягчение телес. Потом, ежели черта, хоть и большого, в ночь на целителя Пантелеймона хлестнуть по темени вербой освященной, он сразу смирится, захнычет. Тогда времени не теряя, надобно посадить его в огуречный рассол и держать до полного издыхания. Но против валета усатого дает Иван Кузьмич средство скорое и верное. Баночку, а в ней святая водица, со святой горы, монахи привезли. Надо Дуняше ночью, крадучись, подступить к дрыхнущему, оголить и водицей окропить, пришептывая: «Во реке Иордани мира омовение, Сатаниилу с приспешниками гибель гиблая. Аминь!» — Черт задрожит, хвостик отвалится, из утробы вой выйдет песий, а вскоре весь съежится ежиком и завянет.

Домой пришла Дуняша строгая, ясная, со склянкой заветной. Как ни верила Ивану Кузьмичу, но в одном сомнения одолевали — недостойна она, грехами захватана, белизны не хватит покрыть собой зло злейшее. Грешница, маловерка, погибнет, дела не сделав. Чистую рубаху надела — в достоинстве преставиться. У барыни Брынзовой прощенья просила, как в Прощенную, ручку смиренно целуя. Жарко молилась Заступнице Скорой.

Блондин долго домой не возвращался. Сидел он, о своих обличителях не ведая, на заседании еще какой-то комиссии, будто Профобра. Сидел и считал, сколько к девятьсот тридцатому году откроют они школ для горняков в Пермской губернии, какие все будут сознательные, дельные, будто не люди из костей трухлявых да мяса дрянного, что пожить не успел — уж испортилось, а машины американские, все высчитано, где каторга́, свадьба, не икнешь в промежутке. Сидел и считал — школ 318, учеников 16.000, школ 94, учеников 8.000, четыре добавочных. Досчитав же до конца, башкиров прихватив да мордву,

выпил стакан чая, настоенного на каких-то листьях,что в Сокольниках собирал сторож Профобровский, вместо сахара пососал ложечку, отдававшую жестью и селедочным духом, а засим поплелся домой с портфелем тяжелым: схемы, проекты, доклады никак не меньше полпуда весили.

К щелке дверной прилипши, не дышала Дуняша, ждала пока гад задремать соизволит. А он еще на сон газетку читать вздумал. Прочитав громко хмыкнул:«Что ж, в Аргентине забастовка, мировой пожар начинается», улыбнулся, заботливо стянул штаны платанные, на стульчик положил и нырнул под одеяло. Скоро услыхала Дуняша подсапывание легкое, будто младенец в люльке. И чем только они не прикидываются!

Перекрестилась. Дверь тихохонько без скрипа открыла, одеяльце отдернула и пошла кропить да пришептывать. Вскочил блондин, завопил ужасно, точь в точь как предвидел сие Иван Кузьмич. Глаз открыть не может, только руками машет, да орет. С верой в победу близкую, подступила прямо к нему Дуняша. Но ждало ее испытание последнее, меч немыслимый повис над бедным сердцем. Распахнулась рубашка на груди чертовой, и узрела Дуняша бубен родимый, ею выношенный, крови помета, ее кровной крови. Васька! Сын! Валет! Антихрист! И с криком нечеловеческим, выбежала она прочь, по лестнице с обмерзшими ступеньками, по пустому двору, по улицам, — Бог весть куда, от проклятия своего, в лес, в снег, в пекло адское.

О какой огонь пожирал ее чрево! И тот, тот с позументами, с портретами, с мармеладками сахарными был тоже чертом! Чертово семя приняла, в себе носила, своей христианской кровью выходила, людям на смерть. Нет ей милости, нет пощады. Жалостливая Заступница и Та отвела очи заплаканные, за тучи укрыла израненные рученьки, не может протянуть их чертовой полюбовнице, кормилице сатанинской.

Далеко за заставой, под татарским кладбищем, упала она в сугроб и стала глотать снег, чтобы потушить страш-

ное пламя. Но снег жег рот, и огненные языки, пылающие черви извивались в ее нутре, подступали к горлу, душили старческие, дрябленькие груди. Глубже, глубже зарывалась она в снег, только ноги, в стоптанных, рыжих башмаках еще торчали, два гнища сгнивших, гнилушки проклятые!

В РОЗОВОМ ДОМИКЕ

В РОЗОВОМ ДОМИКЕ.

Чудной город Москва, вот уже действительно неправдоподобный город! Сколько статистики развели, переписи, учеты, анкеты, а чепушистости московской извести не сумели.

Возьмем к примеру Николо-Песковский переулок, с виду все в порядке: подотдел Совнархоза, советская амбулатория, курсы хорового пения пролеткультовские, а в домике бывшем тайного советника Всегубова, в розовом домике, самом обыкновенном — нелепица, чудеса, дебри непроходимые!

Прислонился домик бывший Всегубова к Совнархозскому, задумался, глазки — шторки опустил. В Совнархозском сидит барышня и стучит на машинке, крепко стучит, изо всех сил — ленты нет, вся продырявилась, прямо копию через переводную жарит: «Комячейка приветствует революционное выступление рабочих Лидса. Долой лакеев Ллойд-Джорджа!» А во Всегубовском тоже барышня на плешивой софе читает папаше очередной номер «Московских Ведомостей» — «на обеде у предводителя дворянства присутствовали . . .» Кто же присутствовал? Про себя подумаем: что за теософия такая? на небесах банкеты званные с пулярдкой а ля Рэн . . .Царствие небесное! . . Это про себя, а папаше, то-есть генералу от инфантерии Модесту Никифоровичу Всегубову лишь улыбнемся вежливо — хороший обед, с подъемом.

Так идет все изо дня в день, и хватает же предводителей дворянства, пулярдок, желтеньких листков «Московских Ведомостой», благоговейно хранимых дочкой гене-

ральской Евлалией, в печной трубе, на веревочке у вьюшки, чтобы не прочел об обедах кто-нибудь постороний. В уголке над саксонскими болонками, над раковинами, над расписными вазочками висит портрет приятеля генеральского Обер-Форшнейдера графа Флауге — высоко парит человек с великими князьями на «ты», прямо без стеснений перед носом высочественным кодаком щелкает, взаймы на Тити из кордебалета ассигнации дает. По субботам Евлалия пишет письмо графу, под диктовку папаши,не без достоинства, но с горькой слезой стариковства, обиды покинутого—«помнишь, как мы с тобой после ту рецкой в Кюба девицу-молдаванку, имя вот запамятовал, при большем стечении общества,раздели догола и усадили верхом на дресированного медведя? А как выкупали моську Крэкера в шампанском, а ему самому ягодицы украсили гербами баронскими? Молодость! Теперь я стар, дряхл, болен, все друзья обо мне забыли. Молю тебя откликнись, не то потомство проклянет вероломников, презревших героя Хивы». Но нет ответа на письма. «Занят человек, высоко парит, все на аудиенциях, послы, иностранные принцы» — утешает себя генерал. Да, важный был граф, одних хороших отличий, кроме Льва и Солнца какого-нибудь, не меньше двух дюжин, только прежде это . . . Царствие ему небесное!

Эти письма в запредельные края, веселые празднества с мертвецами раститулованными объясняются просто, как, впрочем и все человеческие тайны. В России была революция, даже две как будто, но дикие валы, грозящие смыть все материки, покорно замерли у приступочка Всегубовского домика. В тесных комнатках ничего не произошло, кроме того, что сдох пойнтер «Наполеон», нажравшись на помойке тухлой конины, и в столовой осыпался потолок — давно не ремонтировали.

О том, что творится за порогом домика, в пучинах Николо-Песковского, генерал не ведает, ибо опекаем он нежно и беззаветно старой девой Евлалией, злую революцию от него утаившей. Променяла Евлалия далекую

жизнь на этот сладкий плен старчества, пропахшего камфорой, нафталином, с ватой в ухе, с примочками, припарками, и шамканьем невпопад о былых парадах. Послушаешь Всегубова, не поймешь, как жил он, хотя покажет старик и послужной список, и орден на выцветшей ленточке и ленточки просто пышного котильона. Путаются мысли, язык блудит, не то с хивинцами танцевал он шакон у генеральши Малменьшевой, не то штыком заколол лакея Яшку, который, склонившись до полу, особенно нежно пришептывать умел: балычек тает-с!..» Давно ведь все это было. Тринадцать лет уже прошло, как хватил генерала первый удар, с тех пор он не ходит, ездит лишь в креслице, а правой рукой шевельнуть не может.

Была некогда у генерала и жена, но как то он ее незаметно в походе обронил. Одни говорили, что сбежала она с цифиркой жалким — земским врачем, другие, напротив, заверяли, будто генерал сам ее глупому земцу подкинул, ибо был в это время чрезвычайно занят полковницей Володьевой и Хлюськой — певичкой, а на супругу не хватало ни времени, ни денег. Как никак, две дочки оказались не у земца, а у генерала. Старшая Ольга прямо из института кавалерственной дамы Чертковой, что на Пречистенке, после двух туров вальса, отправилась с штабс-капитаном Глазковым к попу, благословением пренебрегая, но мелочи всякие — простыньки и дессертные ножички — через сестру вытребовав. Генерал хотел проклясть, но по забыл, ибо очень был увлечен гувернанткой Евлалии m-lle Тонэт из Авиньона. Зато Евлалии самой строго на строго запретил к кому либо мужского пода, кроме него — папаши, да глухого батюшки отца Спиридона, приближаться, уверив ее, что от одного прикосновения чужого мужчины начнутся в душе ее страшные рези, а по телу пойдут синие пятна, величиной в грецкий орех. Должна была Евлалия за ним ходить, как за дитятей, покрывать грехи матери и сестры. Уж чуял он недобрый конец, только успел гувернантку свозить разок в «Мавританию» и пока она кушала засахаренные ананасы малость побаловаться, как пришлось сменить все эти невинные забавы

на доктора Таубэ с банками, на кресло неповоротливое, да на всякие размышления.

Любил генерал беседовать о двух предметах предпочтительно — о победах своих неисчислимых над полом, ошибочно называемым слабым, ибо сильных одолевал герой Хивы, и еще о кознях пакостных, многолапчатых масонов.

И чего только не узнала скромная девица Евлалия, заветов папаши непреступившая, даже доктора Таубэ,который лечил ее от запора, невпускавшая к себе в комнату. Знаниями в делах любовных удивила бы она любую дамочку с парижских бульваров, которой фокусы и прибауточки Всегубовские были бы невдомек. Понатужится вечером генерал, откушав манной кашки, да как гаркнет: «Сядь, Евлалия! Слушай отца. У гоф-фурьера Ивашина была полечка . . .дамские пальчики, безе наивоздушнейшее, и в ажурах матинэ . . .по дружбе уступил он ее мне на вечер . . .» И пойдет, пойдет, а Евлалия, не сморгнув даже слушает, обвыкла, стали ей и полечки эти и ажуры-амуры, вроде банок с бальзамами и притирками на полочке.

Но еще охотнее толкует генерал о судьбах Российской Державы, разоблачая перед дочерью происки, подвохи, подкопы, подсиживания хитрые проклятого иудейского племени, сиречь масонов. В молодости еще встретился он с одним бессарабским помещиком, у которого в услуженьи находился выкрест Монька. От этого Моньки узнал помещик мерзкие замыслы неугомонного жидовства, и генералу, тогда еще подполковнику, все до мельчайших деталей поведал.

Каждый год в Страстную Пятницу, собираются главари жидовские со всех концов света. Раввин ихний, цадик пейсатый, он же первый масонский жрец, закалывает младенчика православного и всем дает крови пригубить. Кончив моленья, вой да покачивания, жиды делят меж собой мир, где акции скупить, где военные планы выкрасть, где бунты развести. Сидят они заграницей, повсюду в министерствах, в газетах, в штабах, да что загра-

ницей, у нас в России-матушке министр Витте никто иной, как обрезанный . . .

На Витте обрываются воспоминания генерала. После идут одни смуты, о черте оседлости позабыв, пустили в Санкт Петербург кагал жидовский, сидят там чесночники в ермолках, зонтиками грозятся, зовут себя депутатами и нет на Руси городового, чтоб тряхнув за шиворот легонько, выслать этапным в Бердичев на Белопольскую.

Хоть стар генерал, военный человек, финансами не занимался, но порой подмывает — взять да послать Государю Императору «всеподаннейшую» — сердце русское, корневое, исконное, кровью обливается, не беседовать же с масонами, запретить их просто, замести в уголок веником железным.

За такими беседами проходят дни Всегубова. Много было прежде до страшного семнадцатого года вот таких розовеньких и голубеньких домиков, не в одном Николо-Песковском, но и в Мертвом, в Полуэктовом, в Штатном, в сотнях переулков и тупичков, где безобидные старички, хихикая, считали локоны, перевязанные ленточками или ругали ожидовевших гласных, виноватых в том, что купчиху Квасову почистили среди бела дня, и вообще жулье расплодили. Но пришла революция, полетели с подоконников фикусы и фуксии, жалобно зазвенели, прощаясь, китайские болванчики, зарявкали издыхающие болонки, и стали резвые молодчики прибивать к почтенным воротам дикие надписи, от которых трепетали ставеньки и подкашивались колонки: «Ревтрибунал», «Профсоюз», «Наробраз». А мирные старички либо тихо померли, неслышно рассыпались от страха, горя и голода, либо побрели в далекие заграницы, но не в Монте-Карло поставить на номер сто десятин пахотной, не в Карлсбад сполоснуть раздосадованную интригами кадетскими печень, а в города и земли, жалостно побираясь, среди чужих, сытых, злых разночинцев.

Но любовь сделала невозможное. Тщетно десятки тысяч людей плотиной живых тел, рядами безупречных

французских пушечек хотели запрудить поток революции, а вот слабенькая, тощая девица оградила комнату своего папаши и в двадцатом году было еще в самой Москве место, где жил, царствовал, депутации принимал Самодержец Всероссийский Божьей Милостью. Как прошли в феврале семнадцатого по Арбату первые бунтовщики с флагами, поняла Евлалия, что не выдержит сердце генеральское безмерного поругания. Скрыла от него все, а тихонько, в чуланчике молилась за царскосельского узника, изнывая от тоски ни с кем неразделенной. Там за стенами, «чернь» бунтовалась, чванилась, горланила страшные песни, похожие на разбойные крики, а здесь рядом родной папаша, откушав вареньеце, ругал проклятого Витте, потворщика, масонского крота.

Гул уличный, гул толпы, песни нестихавшие до утра объясняла Евлалия победой над немцами. Генералу не очень понравилось: и песни какие-то несоответствующие, и не немцев следовало бы расколотить, а англичан, у них верховная ложа масонов, всех пакостей питомник.

Много забот было у Евлалии: к окошку не подвозить, «дует, папаша, простудитесь», за прислугой смотреть, чтоб не проболталась. От старости стал давно генерал рассеянным, глуховатым, смотреть-смотрел, но мало видел, и уж конечно, ничего не подозревал, кроме старых жидовских происков — «зря народ по улицам шляется» — все грозил, что выведет полицмейстера на чистую воду, через Обер-Гоф-Шнейдера донесет Августейшему Монарху. Писала Евлалия об этом письма субботние и тихонечко в сторону сморкалась.

Настали октябрские дни. Евлалия знала, что не страх, а позор может остановить боевое сердце героя многих походов, и когда раздался с Девичьего первый залп по Александровскому училищу, сказала отцу: «Папаша мужайтесь, немцы осаждают Москву. Но у Государя лучшие дивизии и мы отбросим их». Верный рассчет: генерал не содрогнулся, весь день, под грохот рвущихся снарядов, вспоминал он былые годы, как вел он в шты-

ки своих сибиряков, и уснул, мурлыча: «Сильный, державный, царствуй на славу нам! . .» А на софе беззвучно плакала Евлалия — все гибло, и держава, и розовый домик, и две человеческих судьбы.

Еще томилась Евлалия, зная, что в Кремле, отражая атаки «разбойников», на смерть дерется ее племянник, Ольгин сын, молодой гвардейский поручик, Петя Глазков.

Наконец пушки стихли, и пряча платком густо заплаканное лицо — «зубы болят» — Евлалия сообщила папаше радостную весть — немцы отогнаны. Хотел старик по Всегубовски львино рявкнуть ура», но сил не хватило, только прошамкал что-то.

Приходили какие-то горлодеры, оружия искать, «у вас» — говорили — «пулемет в перине пристроен». Умолила их Евлалия старичка больного пощадить. Только заглянули в комнатку, да один юркий, быстро слазил под софу. Шепнула Евлалия папаше, что вор у дворничихи Пелагеи утки стянул, вот ищут его, не пролез ли в окошко. «Жиды! Мазурики!», бурчал старик, а на солдат умилился: «молодцы, а ну ка сцапайте бунтаря и за форточку!»

С каждым месяцем становилось все горше. Хитрей дипломатов изворачивалась Евлалия. Приметили домик какие-то бритые прохвосты. — Уж одно имя — «летучая труппа» — чего стоит, скорее всего карманники. Пришлось генералу с Евлалией перебраться в мезонин: «сыро внизу, вот и ноет нога ваша» (не штатская хворь, шампанские сифончики — ранение хивинское). Уверял генерал, что рана вовсе не слышится, а наверху пакостно, и от крысиного духа душу мутит, но твердой рукой покатила Евлалия креслице. А к бритым пошла, чтобы сердце смягчить воровское на подушки положила бабушкины накидочки крахмальные с прошивками, и сочла за долг, гордостью родовой пренебрегая, в общенье войти: «папаша у меня с детства революционер, из платка флаг красный себе сделал, все сидит и машет — дай Бог им

светлого преуспевания. Жаль не могу свести вас к нему, радостью поделится, очень болен он и от посторонних лиц впадает в ярость неслыханную, вроде падучей, все жандармы проклятые чудятся». А генерал поджидал наверху: «Евлалия, почитай-ка мне «Московские Ведомости», и плотно прикрыв двери вынимала Евлалия старенький рыжий листок, мерно, покойно, будто псалтырь над покойником, читала: «Высочайшим рескриптом назначается . . .» пока засыпал папаша. Все время на ноже ходила, к осени восемнадцатого съехали «воришки» — видите ли, печки в неисправности, — рабочих найти нельзя, другой дом почище облюбовали. Прошла сырость, утишилась рана, спустились и генерал с дочкой вниз, к веселым мандаринам (одного, что язычком помахивал, разбойники не то разбили на радостях, не то стибрили просто).

Зато подступили другие испытания, давно ушли уж последние рубли серебряные, отложенные на черный день Евлалией. За ними поплелись — браслетик гранатовый, серебро закусочное, масивные подстаканчики и многое другое. Повязавшись платочком бежала Евлалия на Смоленский рынок со скатеркой или со старыми штанами генеральскими, стеганными, на пуху верблюжьем. Ругали ее бабы, мальчишки измывались, пихали, цапали, все выносила и генералу несла под полой рваной шубки тысячную булочку, замерзшую, крепкую, как камень, вкусную, (ох, как самой куснуть хотелось!), но на суд строгий и несправедливый. Ворчал генерал: «и где только такую пакость пекут, послала бы ты Пелагею к Филиппову, там за пятачек горяченькие, румяненькие, не чета этой мозоли кобыльей». Крохи подобрав, слизнув у окошка, думала Евлалия о страшной, непонятной жизни. За что такое испытание? Были — городовой на углу Афанасьевского, в башлычке, добренький, шеколад Эйнемовский «Золотой Ярлык», порядок на улице, магазины в пассаже,было что-то, а теперь вот эти крохи, стоянки на рынке, где какой-нибудь вшивый харкун по скатерти с

метками фамильными лапищами пройдется, облает, облапит е щ е, вечера в нетопленной комнатке, звонки смертельные, записи, выиски, книжки трудовые. Прежде в институте Евлалия вздыхала о гусаре, о сумце голубом, о букетах от Ноева с лентами, — всю жизнь шептаться бы на веранде дачи, о чем-то очень приятном, красивом. И вот иди, пили в морозных сенях дрова, на последнюю нижнюю юбку выменянные. Долго глядела она на руки закорузлые, трещинами покрывшиеся на подобие слоновой шкуры, от мытья простынь, золы печной и упрямой пилы. Некому ей пожаловаться, не у кого спросить, за что такая мука, придет ли скоро конец, все равно какой — генерал казачий с городовыми, с шеколадом, с таким «разойдись!», что увидав Евлалию, бабы Смоленские задом бы пятились, или смерть избавительная, три аршина на Ваганьковском.

Потом совсем плохо стало. Мороз в комнатке, четверка хлеба паечного, усатого, не проглотишь — зацепишься, мокрого, тяжкого, как ком могильной земли. «Потерпите, папаша», молила Евлалия, «скоро Таубэ отменит диету, печи разрешит топить. Если вас сейчас перевести в натопленную комнату — снова удар. И есть ничего нельзя, кроме пшена на воде и вот этого хлеба, специально для болезни вашей в лаборатории пекут, лекарственный хлеб, невкусный, правда, но помогает очень». «Странная диета, болезнь странная, говорю», — стонал генерал и дрожал дрожью крупной, завернувшись с головой в одеяло. А раз не выдержал, ночью позвал дочку: «Евлалия, деточка, ангел мой, ну немножко хлебца беленького! Все равно — пусть потом хоть удар, смерть,ничего. Сил нет, так внутри все и прыгает, жалуется. Пожалей отца, обойди рецепт, дай разок откусить и затопи уж. С легкой душой отойду.» Так просил все и плакал, будто дитя малое, и, муки не выдержав, плакала с ним Евлалия, силы собирая, чтобы, гладя папашу по бедной трогательной лысине, шептать: «нельзя,ей-ей!»

Весной двадцатого года, в апреле не то пятого, не то

восьмого,как будто вечером, может за полночь (сбилась Евлалия от всех штук анафемских: календарь, часы с ума сошли — Рождество Христово в январе месяце, солнышко садится в первом часу пополуночи — время перестала различать), услыхав звонок торопливый, задрожала девица — уж не ночь ли, не чекисты ли о «Ведомостях» пронюхавшие, а может, милостив Господь, день еще, пришли из орды ханской за штанами, кои должна генеральская дочка шить палачам, ослушникам, Троцким маленьким со звездой Давида из Талмуда.

Но радость поздняя за долгие годы ждала Евлалию. Племянничек, герой непримиримый, крестоносец, Петенька! Исхудал до чего, заострился, на ботинках рванных не штрипки залихватские, лоскуточки брюк переношенных, но душой прежним остался, ни на пол вершка не отступил перед наглецами, перед захватчиками. Крадучись пришел к тетушке — спрятать его нужно, охотятся звездастые, пронюхиваются, ну да, ничегоо, он замел следы! Не гвардейцу герою на Смоленский бегать, у окошка кондитерские вспоминать — высокими делами он занят, законному Престолонаследнику П р е с т о л возвращает, Семеновец ли потерпит чтобы вместо орлов — суворовских, скобелевских — торчала бы со стен обнаженных борода, сальная борода лапсердачника Маркса, застилая всю робостную Русь? Чтоб во Дворцах Императорских стриженные жидовочки пащенков сопливых холили, будто великих князей? Чтоб вместо мазурок громоносных, кантов, орденов, ведерок с замороженным, Стеш-хористок пошла бы коммуния голопятая, воблистая, скушная, что если не верить — вот, вот конец, давно бы бух в Неву. Но дело на лад идет. В полках верные людишки, на стороне «тройки» отчаянные, под Курском мост подорвали, в Елецком уезде мужиков подняли новоявленной Богородицей, коя кровь из груди изливает и дьячка молила: «рану исцели, изгони из Кремля внучат Иудовых!» На юге генерал Врангель, Петр Николаевич, через Днепр

переправился, на Алешки метит. Скоро, скоро конец! Только не подлезли бы оборотни двухмордые, кадеты с «Думами», профессора из ума выжившие со «свободами» чумными, не для того кровь дворянская льется, чтоб депутатик в пенсне, суточные пропив, требовал бы к ответу министра: «А почему у вас делается нечто мне неизвестное?» И нос спрячет в футляр вместе с пенсне, форточку открыть побоится, как проскачет гвардия на парад через Спасские ворота.

Поняла Евлалия, что это и есть жданный избавитель, Георгий Победоносец, и не смея слова глупого сказать, только ясная, счастливая поцеловала его руку, прежде славную во всем Петербурге, гордость маникюрши м-ме Вилет, а теперь загрубевшую, грязью времени окаймленную.

Не понял генерал костюма внука: «оболтус, лоботряс, так то ты служишь? За деревенскими девками небось лазил? Струхнул? Перекрасился? Отвечай, бабий хвост, в каком чине?»

«Лейб-Гвардии Семеновского полка поручик. В отпуску, о снисхождении прошу». «То то же». И задремал генерал, а Петенька жадно проглотив кашу Евлалии — что ей каша, она радости высшей преисполнена — тоже в чуланчике лег спать, под голову подложив тетушкину шубку. И от запаха семейственного, мышей, лекарств, меха, лежалой всячины, снились ему приятные сны, будто он маленький, ни о чинах, ни о балах, ни о подвиге ничего не знает, а играет с маменькой и прячется в передней, стащив из буфетной горсть шепталы сладкой, за лисью ротонду прячется, отыскала маменька, щекочет, а сама в рот кладет — только глазки закрой — что-то очень вкусное, вкусней шепталы — шоколад с ананасом внутри. Господи, хорошо как!

А Евлалия не спала, но пред иконой молилась о даровании победы. Вот, вот полетят все мосты, подымутся все мужички, не те, что на Смоленском, грубияны дрянные, а честные, хорошие, послушливые, бритых актеров, счет-

чиков, солдат охальных, прогонят и поедет в карете Его Императорское, а за ним на коне белом, нет в яблоках, в яблоках всего красивее, Петенька гордый, но выше гордости добрый, улыбчивый. «Матерь Божья, помоги!»

Еще звонок. Боже, кто-же это? Штатский, отвратный, хоть и не китаец, но почти, военные с винтовками, с револьверами. Не послушали криков Евлалии, прямо прошли в комнату генеральскую, криком, топотом, звяканьем, разбудили старика: «Не у вас ли находится Петр Глазков, обвиняемый в устройстве заговора для ниспровержения существующего строя?» Хоть сонный, но сразу все сообразил генерал — вот почему внук его в костюме маскарадном явился: «Петька! Крамольник! Изменник! Присягу нарушил! Держите его — вот он, в чуланчике укрылся злодей! Проклинаю смутьяна мерзкого!» Быстро, быстро, подмахнув бумажку, ушли люди, и Петю увели с собой, промолчал внук, ничего деду не сказал, только Евлалии, громко голосившей в углу, крикнул: «Эх, не горюйте! Все равно лучше, чем советские конюшни скрести!» Дверью, отставшей от сырости, скрипучей не в меру, пошумели и ушли.

Не вытерпела Евлалия, все позабывши закричала: Папаша! папаша! что вы сделали? Ведь давно у нас царя нет, третий год уж эти негодяи владычат, против них восстал Петенька, убьют его теперь, замучают!» — «Врешь», гневно ответил генерал, «сама заразилась тлетворностью. Жив Самодержец всея Руси, не вам его спихнуть, нигилистам низким! Пусть повесят Петьку, псу смерть песья! Чуял я, что у Ольги такой изверг вырастет, трясогузка, с фертиками нюхалась, без благословения под венец пошла! У! масоны, и когда вам крышка будет? Не хочу слышать о нем, слово скажи — тебя прокляну! Садись, читай газету, забыться от мальчишки, пакостника!»

И снова подняла Евлалия крест, на минуту выпавший из ослабевших рук, но стал он по новому тяжек. Видала она Петеньку, лежащего у стены, фуражка рядом, на

виске милом, повыше оспинки (ветряной еще в корпусе болел), кровь, родная, Всегубовская. А штатский, китаец почти, измывается, рану сапогом теребит, теребит...

«Государь Император успокоил представителей курского дворянства подтвердив, что никаких уступок мятежным кругам сделано не будет». Поддакивал генерал, «правильно!! никаких поблажек! в тюрьму масонов! Петьке, змее гнусной, веревку, да мылом, мылом ее!... Тяни потуже!»...

Расстреляли Петю. Больше ни на что не надеется Евлалия, спасения не ждет, и ночь о муках своих не пытает. Даже молиться и плакать перестала. Ходит на рынок, читает газету, пишет письма Обер-Гоф-Шнейдеру. Тихо, очень тихо в розовом домике.

«ВЕСЕЛЫЙ ФИНИШ»

«ВЕСЕЛЫЙ ФИНИШ»

Двадцать шестого ноября жизнь решительно остановилась и началось сплошное навождение. Еще накануне вечером «Осваг» подбоченившись, весело подмигивал громадными каракулями: «Не бойтесь! Отогнаны красные!», но Федька Платов, плакат вывесив, прищурившись, хорошо ли висит, схватил со стола пачку папирос и все карандаши, и айда к вокзалу — авось вынесет! . . Утром же рассыльный Игнатьич, прочитав Платовское творчество, усмехнулся, тихо правда, осторожность и приличие блюдя, но все же не утерпел и Грушко, державшей табачную лавку, напротив «Освага», шепнул одно словечко недлинное — «ревком», — от которого Грушко забилась, как квочка, обхватила горестно ящик папиросный, николаевские пихая между прочим за лиф, и быстро прилаживая к окнам деревянные щиты.

С виду даже нормально было: двадцать шестое число, никто дней не переставил, в кафе «Шик» мальчик заметал большие залы, газета вышла, только все больше объявления и насчет советов сельским хозяевам, как капусту от червей предохранить, хоть и не к сезону. Да оно и понятно — не только редактор, но и выпускающий, воспользовавшись теплушкой цензорской, давно потряхивались, тихо, но верно, ускользая, а червяков изыскал младший метранпаж, с горя, все колючее обходя — знал он тоже о ревкоме, уезжать же не помышлял.

Прочитав тщательно газету, люди останавливались на улице, будто коментариев ожидая, но с минуту простояв,

сразу, уже безо всякой задумчивости, неслись к вокзалу, где вскоре образовалось скопище невиданное, все приличные люди города — инспектор реального Бугров, отец Антоний, богослов, муж ума редкого, спекулянт Гиршфельд, в Америке был бы министром, журналист Момо, руку набивший на изысканиях в генеалогии большевистской, сыщиков парочка, маклера, владелец фабрики гильз Брюхин — козлы это, жохи почтенные, а за ними стадо тысячеголовое, дамы курдючные, интеллигентики до святительства отощавшие, офицеры с узелками вовсе не походными, ребята, чернь, словом первым не чета.

Все, будто на гору крутую, лезли на один и тот же с верхом, на подобие лукошка, полный состав, назад скатывались, снова лезли, так весь день, потому что не трогались с места вагоны: паровоз взял себе начальник «Осваги», в классном отбывший с запасных путей. Многие пешком пошли, залезая в снег, оглядываясь на город, где все же дома есть, люди, даже фонарь напротив театра, но вспомнив одно — «ревком» — ныряли в сугробы.

Тянулись тележки по городу, и чего только на них не было! .. Из штаба комод пузатый вывозили, а к чему, никто не знал, пустые ящики, клетки птичьи, вывески прихватывали. Всунув пачку кредиток чину с винтовкой, или парням мордобоям («ледоколами» — звали их) счастливчики влезали в вагоны, даже с клеткой порой. Но когда под вечер отошел наконец первый поезд, все видели, как на платформе мальченок, недоползший до матери, кричал, и в окошке цеплялась за воздух, его тщась подловить, простоволосая женщина. Но кто бы согласился хоть на минуту поезд остановить, когда там в в сумерочном городе, неторопившемся зажечь свои огарочные огни, уж вылупливался на свет страшный «ревком»? Так и уехали, смыла толпа детеныша, стали приступом брать второй состав.

Днем как-то все утешительней было, дома стояли, многие магазины, в нерешительности торговать или нет, приподняли веки, если не жизнь, то хоть видимость сохранялась. Говорили о ревкоме, но не чувствова-

ли его. Когда же стемнело, провалились дома, исчезли в окнах ботинки, часики, колбасы, напоминавшие о том, что не конец все это, но двадцать шестое ноября, когда кануло все в туман, снег повалил хлопчатый, крупный, мокрый, все, будто навалился уж он вплотную, одно увидели — ревком.

О красных, которые идут с севера (китайцы что-ли потрошители?), никто не думал, шли они, как вьюга — заметет всех, ничего не поделаешь, а может враки, даже с порядком идут, добренькие, помилуют. Дело далекое, думать не стоит. Но ревком, выросший здесь, в рабочем поселке, за речкой, был близким и страшным по случайности, каждый тяни лотерейный билет. Кто же в нем сидит? Неизвестные судьи, но уж безусловно всезнайки, многое отмечено у них в записных книжках. Меховщик оптовик Тешин подозревал приказчика своего Алексея, коли так — крышка, зачем дураком был, при нем на белых доброхотным раскошелился, а жалованья не набавил? «Еремеев, журналист, пачкун», думал инспектор страхового общества Лазарев, родами жены удержанный, «знает он, что выдал я казакам двух большевиков-реквизиторов, раньше всех меня посетит», думал и криков жены не слыша, плакал в шубе на черной лестнице.

За речкой, у ворот гвоздильного завода валялись никем не убранные четыре трупа: осетины, проскакав,пошалили малость, чтоб не слишком радовались красным. Молчали дома окрест, дома узкие, высокие, с жильцами угловыми, коечными, артельными, — без огней, — есть ли там кто, пустые ли — не разберешь. Люди притаились, только бы продержаться до завтра, в темь врости, а завтра, завтра — ревком! Что такое «ревком» этот, кто там будет, и здесь за речкой не знали, но темное слово повторяли с нежностью. Может и не было никакого ревкома, только должен был он быть, родится в сыром, кровью подмоченном снегу, у заводских ворот, чтоб откликнулись люди на злое ауканье сухих, быстрых, для памяти посланных выстрелов, чтоб приволокли завтра сю-

да на это облюбованное уж место, десятки других людей. Недобро, смертельно молчала заречная слободка, лишь отряды отступающих постреливали наспех.

Ночь близилась. Замолк и город, оставленный всеми, кто торговал, спорил, суетился, бегал в кафе «Шик» за валютой, устраивал лекции « о возрождении России», писал, читал, веселился, спорил, смехом, говором, повседневной белибердой оживлял эти скучные улицы. Вдали гудел, отчаянными всплесками напиравших на поезда толп, вокзал, и сквозь гуд прорывались вскрики, уж просто невозможные, оставленных, придушенных, забытых.

Глазами выколотыми торчали окна «Освага» со сползшей на пол картой. Только два учреждения еще жили и бодрствовали — контр-разведка, помещавшаяся в гостинице «Венеция» и ночное кабаре, излюбленное офицерами, артистами, над дверью коего была нарисована художником маркиза с розой и значилось: «Художественный погребок «ВЕСЕЛЫЙ ФИНИШ».

Ротмистр Александр Степанович Рославлев, гордость контр-разведки, уставший от ночной работы проспал далеко за полдень, и лишь в пять часов позвонил по телефону на службу. Подошел корнет Мылов и сказал неутешительное: эвакуацию закончили, хоть непосредственной опасности нет, в городе паника. Уйдем по всей вероятности завтра. Получены верные сведения, что в слободке образовался местный ревком. Необходимо до ухода ликвидировать. Выслушав все это, Рославлев спокойно потянулся и заботливо свой пробор, по точности и белизне известный всему полку, оправил от забредших в сторону волосиков, после чего пошел, как и каждый день в кафе «Шик». Там никого не было, и лакей в ужасе посмотрел на блиставшие погоны Рославлева, хоть и знал его за лучшего посетителя. «Музыки сегодня отчего нет?» Лакей совсем потерялся и заикаясь выволок из себя: «Никак нет, ваше благородие!Ревком!» Добродушно усмехнулся ротмистр: «Чепуху городишь! Москву скоро возьмем!» и приказал подать чашку шоколада. Но на

душе его было невесело — значит снова отступать, снова цокот погребальный, под злые взгляды остающихся, еще пули в догонку, новая остановка — на неделю, на месяц, а там конец, хорошо бы в бою, хоть без муки, без надругательств. Ни в какую Москву Рославлев не верил, а пошел с присужденными от невыносимой, из нутра выпиравшей ненависти к пигмеям ненасытным, к уродцам без традиций, без шелеста знамен, без звяканья шпор. Но никогда он так не болел неудачей, как нынче, не только город русский покидал, но еще домик один на Спасской, а там в антресоли с крашенным полом, с вязанными салфеточками на креслах лапчатых Наталию Николаевну Боброву, нет, если признаться, Талю просто, единственную, короткую, жалостную радость за шесть лет боев, крови приторной, от крови этой такой скуки, что никому не расскажешь, только вот сейчас вместо эвакуации ляжешь здесь на полу под столиком и зевнешь — лакей очумеет. Посидев совсем расстроился Рославлев, хотел к Тале пойти, но решил, что скрыть правды не сможет, только замучит ее. Лучше завтра прямо перед уходом, пока подтянуться надо, в разведку пора.

Проходя по Николаевской Рославлев увидел за щитом цветочного магазина прилипшую к стеклу хозяйку и настойчиво постучал. Открыли, но свежих цветов не было, только полузавядшие хризантемы с тронутыми ржавью лепесточками. Строго приказал ротмистр немедля снести цветы на Спасскую. «Никого нет, все с перепугу разбежались», причитала хозяйка, но увидев револьвер юркнула куда-то и мальчик тотчас появился, взял большущий букет, понес. Редкие прохожие, в перегонку уличку перебегавшие, с ужасом взирали на белые звездочные цветы, глядел на них и Рославлев — будто венок на гроб, поминание небывшей любви, сразу затравленной, отнятой. Сколько радости могло быть в этих белых комнатах на Спасской: поцелуи тихонько за тетушкиной спиной, записочки, после поезд быстро, быстро несется, парк в Гурзуфе и не понять, где волн вздохи, где Тали-

ны... Господи, и вместо всего — вялый букет, «прощайте», да бегство, каждый цок копыта так и кричит «навек!»...

В тоске шел Рославлев, а когда наконец поднял глаза, осмотрелся, где он, — увидел маленького мальченка, еврейчика ушастого, продававшего папиросы. Подступила злоба; вот от них, от грязных, юрких курчавых, —уши выпирают, нос птичий, картавят мерзко: «папигосы», — от них все пошло, от них нет ни России, ни радости, ни Тали. И раскачнувшись, он швырнул мальченка кулачком в снег, нос прошибив и перепачкав кровью перчатку. «Видали? Начинается», шепнул неизвестно кому, стоявший на углу студентик и быстро засеменил. Мальчик визжал, весь подпрыгивая и корчась. Брезгливо кинув перчатку, «Гады! Искариоты!» Рославлев уж спокойно, уверено пошел в разведку.

В загаженных номерах «Венеции» было пусто, неуютно, раззор полный. Совсем дача в августе, — подумал Рославлев. Валялись окурки, газеты, папки «Дел», синие листочки какие-то нехорошие, сломанная пишущая машинка Ротмистр заглянул в номер двадцать третий, где помещался раньше кабинет начальника. У стены, на табуретке увидел мастерового, будто прикурнувшего мирно, но с раздробленной головой, обои голубые и портрет генеральский были густо забрызгааны кровью. «Это мелюзга», пояснил корнет Мылов, «с гвоздильного, листки нашли. Главное ревком».

— «Пакость», пробурчал ротмистр, «запакостили мир», и прошел в соседний номер, где поручик Головчан допрашивал служащего кооператива Курицына: «Отвечай, сукин сын, ходил вчера на заседание?» — «Никак нет, господин поручик, из бани прямо домой пошел».

-«Вы б его шомполами», раздражительно крикнул Рославлев, и отвел в сторону Мылова взять справки о розыске ревкома. «Надежды мало», признался корнет, «связи упущены. Вы когда снимаетесь?» — «Завтра утром». —«А я сегодня со штабом. Если что либо до двенадцати подвернется, сообщу вам». — «Ладно, только не домой,

спать не буду. В «Финиш» позвоните». И не дожидаясь, пока рябой Курицын пущен будет в расход, Рославлев вышел, из одного очага жизни по кладбищенскому городу, направляясь в другой, а именно в кабаре « В е с е - лый Финиш».

Держатель кафе, грек Ливидопуло, хотел было учреждение свое прикрыть, ревкома боялся, да и деньги деникинские его мало прельщали. Но перед просьбами шутника есаула, подкрепленными увесистым наганом н е устоял, и пошло веселье. Виды немалые видывал «Веселый Финиш», и как гвардеец куплетиста Коралькова за подозрительный акцент ухлопал, и как корниловцы с кубанцами, раду обсуждая, в перестрелку ударились, и как разведчик Штальгарт адвоката Сергеенко, дух большевистский учуяв, на месте ликвидировал, недаром зеркала все перебиты, потолок изрешетчен, но подобного вечера не было, не вечер, но городское, заречное, вокзальное, то-есть предревкомовское навождение.

Пришли отчаянные, полуумные, на все рукой махнувшие, перед чекой, перед каторгой советской с трудовыми повинностями, перед смертью в последний разок кутнуть, да так, чтоб жарко небу стало, с пальбой, с бутылками пролетающими в морды музыкантов, с выкинутыми на ветер, греку, черту самому, ненужными больше бумажниками.

За крайним столиком сидели артистка опереточная Зельми с кавалером. Пили они из больших чайных чашек — рюмочки все есаул, проклиная тыловиков предателей, перебил — бенедектин, причем Зельми время от времени восклицала истерично «пропало колье в ломбарде, по вашей любви пропало — вот что!» Кавалер же с лицом глупым, но трагическим, улыбаясь благостно, отвечал «а меня завтра расстреляют». Позади шумели офицеры, валютчик Тигель, инженю городского театра Версева с ухаживателями и другие, которых Рославлев в лицо не знал.

Ротмистр сел в углу за ширмами, спросил портвейну

и начал глядеть в зеркала на прыгающие фигуры: танцевали, били скрипача, целовались. Тигель ползал на четвереньках у ног Версевой. Чем больше пил Рославлев, тем быстрей прыгали фигурки, лиц уж не было видно, только ноги, да где то наверху проскакивали чуб, перо шляпки, заломленная лихо папаха. Музыканты тянули нечто невыразимо грустное, трогательное, «прощай навеки, прощай, прощай!» Вторую бутылку опорожнив, Рославлев совсем затомился, тяжелый хмель ног не подмывал, голову клонил, все внутри сгущал, ложась окисью. Мастеровой лез в голову — «вот так и я, тоже в номерах, чекист поиграет собачкой, окорочусь, тьфу, и самое главное, что пакость все это, обои загаженные, вонь, чепуха,ничто!»

За третьей бутылкой подошел к Рославлеву ординарец и подал записку от корнета Мылова: «Пишу с вокзала. Только что удалось добиться от Курицына, что председателя ревкома зовут Афанасием, фамилии не знает, имя тоже верно вымышленное, роста среднего, на голове пробор, косит слегка, под нижней губой большая бородавка. Есть предположение, что он сегодня вечером будет в «Финише». Жалею, что не могу остаться. Желаю успеха». Рославлев записку прочел — «косит, бородавка, совпадение какое!» — прошло у него быстро в голове, но мысли не докончил, — двигались они быстро, юркие, не ухватишь, и жадно стал пить стаканами залпом, глазом одним подзывая лакея, «еще!» А музыканты играли уж что-то веселое, дразнили, злился, ротмистр — «им то что, раздавить проклятых!» Пел кто-то «Всех купчих краса и жар, голубой сумской гусар», — «опять измываются, — какие купчихи? где они? ревком! бородавка! пакость!» И вдруг, взглянув перед собой в зеркало, увидал этого самого Афанасия. Негодяй откровенно косил и даже бородавку не потрудился спрятать.

Стойко, крепким шагом прошел ротмистр к соседнему столику, за которым пели о купчихе и сказал: «Господа офицеры, здесь находится в настоящий момент предсе-

датель ревкома. У меня приметы, по которым я его легко опознаю. Будьте любезны никого не выпускать». Весело кинулись офицеры к дверям, револьверами помахивая, не докончив «танго» расползлись музыканты, все учуяли недоброе, заметались. «Идут!» — «Кто?» — «Ревком!» —«Врешь, это разведка». — «Разведка ревком ищет». А Рославлев стал обходить столики, медленно старательно вглядываясь в лицо каждого и выпятив черное дуло. «Это ты!» кричала Зельми кавалеру: «он, он, я не виновата!», а «он» улыбнувшись, так и не мог скинуть улыбки, радостный сидел. Тигель пытался влезть на люстру. Кричали, бегали, просили пощады, молились, а Рославлев все подвигался неминучий, прямой, среди многих выискивая одного. Когда же он обошел все углы и Афанасия не оказалось, новый страх овладел всеми — здесь ревком, скрывается, сейчас встанет, словит, живьем не выпустит! . .

Усталый пошел Рославлев к выходу, но из двери зеркальной снова злобно, холодно, безразлично глянуло на него лицо с бородавкой. «Теперь не уйдешь!» И ротмистр в упор выстрелил; полетели зеркальные осколки, вниз скатившись, вопила в истерике Зельми. Поручик Крылов, выпивший за весь вечер всего на всего бутылку коньяку, понял что дело не ладно, и ласково сказал: «Вы утомились, разрешите мне осмотреть публику». Молча протянул ротмистр ему записку Мылова, молча тот прочел ее, и прочитав быстро взглянул на Рославлева — пробор, косит, бородавка — переоделся чекист проклятый — раздался еще выстрел, уже не в зеркало — вниз покатился ротмистр Рославлев, ногой зацепив столик с бутылками, и разок отчаянно на полу подпрыгнув.

«Господа, пора в путь!» — закричал Крылов, ногой отпихнув голову Рославлева. Но сверху по лестнице, офицерам навстречу, скатился грек-хозяин:

«Поздно! Оцепили! В городе ревком!»


БЕГУН

БЕГУН

«Кобленц» — говорят, а что такое Кобленц, этот прославленный? Городишка скверный, не лучше нашего губернского, улички кривые, старая церковь, фонтан — тоже достопримечательность! Где здесь разойтись было маркизам де Виль-Нэф, виконтам де Бурьи, версальским шаркунам, мадригальщикам, средь озорства клубного, санкюлотства неслыханного (то есть, если прямо по-русски выразиться — беспорточничества), сохранившим парчевые жилеты в лилиях, с единорогами, о шестнадцати пуговиц, косицы непримеримые, гордость свою, краешком камзолов не коснувшимся маркитанки-Марианны, с ассигнациями сальными, вместо экю «милостью Божией Людовика», с носом единственным, багрянородным носом. Дыра — Кобленц, мелочь на карте, внимания не стоит! . .

То ли дело Россия! Как началась буря, полетели не сотни, сотни сотен многие, тысяч сотни, не городишко обжили, запрудили пять частей света. Что же большому кораблю, и плавание большое! Ведь не маркизы одни, то есть действительные, тайные, нет таборы разноязычные, вовсе уж меж собой не схожие, двинулись Бог весть куда — в Париж ли кутнуть на поминках, в Турцию ли с горя на минареты поглядывать, в Аргентину ли, свиней в Аргентине разводить можно, кто знает? Все равно, от своих подальше! Как понеслись с гнезд вспугнутые, так и не могут остановится — из Питера в Москву, из Москвы в Киев, дальше в Одессу, на Кубань, в Крым и уж

вплавь, через все моря. Даже позабыли люди, что можно у себя в столовой на дедовском кресле вечером сидеть, и вынув газету из висячей папки бархатной, на коей дочь к ангелу вышила бисером: «да скроется тьма», и читать супруге сонной, теплой, о том, как зачем то сумасшедшие люди лазят на полюс или канал панамский роют.

Кто только не убежал — и сановные, маститые, — Станиславы, Анны на шеях, — и мелюзга, пискари в море буйном: фельдшера от мобилизаций, стряпчие от реквизиций, дьячки, чтоб в соблазн не впасть, просто людишки безобидные от нечеловеческого страха; сахарозаводчики, тузы махровые, для коих в Парижах и кулебяки, и икорка, и прохладительные готовятся и голодранцы, голотяпы, грузы грузят, на голове ходят, тараканьи бега с тотализатором надумали — прямо санкюлоты, так что взглянешь на них — спутать легко, где то она самая революция; политики, идейные всякие, с программами, хорошие люди — столько честности, руку пожмет такой, и то возгордишься, ну и построчники за ними, коты газетные, хапуны щекотливые, всякие; а больше всего просто человеки: был дом, профессия, ботики с буквами, а подошло грозное, и ничего в помине, не эмигрантами стали, не беженцами, а бегунами. Послушаешь такого, ну что он спасал? — ни сейфа нет, ни титула, ни идеи завалящейся — не поймешь, только во всех глагольствованиях никчемных столько горя, да не выдуманного, а подлинного — не поймешь, только отвернешься: не начать же реветь где-нибудь на Бульвар де Капюсин, публику чистую, не московитов в бегах, а парижан честных пугая!

Вот таким бегуном был и Григорий Васильевич Скворцов, родом из Пензы, холостой, слава Богу (не детишек же с собой по миру таскать). В невозвратное время, когда в бегах состояли только немногие, по вкусу, или честные черезчур, или уж вовсе без чести, сидел себе Скворцов скромно в Москве на Плющихе и ни о каких заграницах не помышлял, даже узнав как-то, что его товарищ Бухин

по удешевленному в Берлин с экскурсией проехал, сердито откашлялся: «обо всем этом у Водовозова прочесть можно, а вот без фундамента соответствующего от разных пейзажей и пропасть не мудрено». Должность занимал он не высокую, но почтенную, уважения всяческого достойную, а именно, с 96-го, то есть двадцать один год подряд, состоял надзирателем в первой гимназии, сначала именуясь «педелем», а потом в свете преобразующем реформ, «помощником классного наставника». Ведал Григорий Васильевич нижним корридором, пятиклассников не касаясь, следил чтоб «кое-где» не курили, и зря во время уроков латыни не засиживались, будто холерой заболев, чтоб на переменках не дрались пряжками, не жрали масло, с ранцами ходили, а не по моде фатовской тетрадку за пазухой, гербов не выламывали, след заметая, чтобы средств для рощения усов второгодники-камчадалы преждевременно не покупали тихонько, словом, чтобы был порядок, достойный гимназии классической, первой, в чьих стенах столетних, не кто-нибудь, а министр покойный Боголепов воспитывался и на золотую доску занесен.

Был Скворцов человеком мягким, душевным, от слежки не огрубевшим, и хоть в беседы какие-либо, кроме распеканций, с детьми не вступал, но и не придирался, оставив на два часа, сожалел, а уничтожению карцера, даже коллег удивив, порадовался. Объясняется все это тем, что тайно (ну да теперь и раскрыть можно) был Скворцов ужасным либералом, а министра Боголепова, столь перед учениками прославляемого, в душе не одобрял, предпочитая кротость и прогресс, вот как у Водовозова в Англии. Не педель право, а гуманист истинный: «Русские Ведомости», в библиотеку записан, книжки, мечты. И над всем, после ужина — самоварчик чуть мурлычит, кот Барс поддакивает, уют, мир — все же скорбь за страну, где-то вне лежащую, возле Пензы что-ли? — за нищую страну, неприветную, скорбь и даже возглас шопотливый «увижу-ль я народ освобожденный?»

Хорошо жилось человеку: комната с печью широкой

беленая, хозяйка квартирная души не чаяла, пестовала, прямо, как с дитятей нянчилась — и плюшки изюмчатые к чаю, и новая картинка Шишкина академика (лес, снег, медвежата, бодрость какая!), и набрюшник вязаный, чтоб не простудился Григорий Васильевич за ребятами в переменку во двор выбегая. Но не отступился Скворцов от традиций святых, от грезы интеллигентской, доморощенной (уж ее ни в каком Париже не выищешь), преобразований хотел, а иногда, когда запрещали «Русским Ведомостям» розничную, (и рад был бы подписаться да доноса боялся, покупала же номерок хозяйка в секрете) даже до революции доходил, так в уме Мирабо и бегали, самому боязно становилось.

Вот и в пятом году чуть-чуть не свихнулся человек, кажется, еслиб во время не прикатили из Питера семеновцы с пулеметами, до республики бы докатился — на митинги в университет, переодевшись, бегал, жертвовал курсистке подозрительной (для успокоения, на что не допытываясь), словом колебался в самых основах. Устоял все же, опять к преобразованиям склонился, в учительской за правый список высказавшись, тихонько всунул в урну честный кадетский, и пошло все по хорошему, как у всех людей, так что до большевиков и упомянуть не о чем!

Когда все немцев ругали и он ругал, даже за неуспехи по немецкому учеников похвалить хотел, но не зная в согласии ли чувствует с округом, не решился. Когда в марте пели и плакали, не тише других на Плющихе подпевал и хозяйку христосованием идейным умучил. Дал в лево сильный крен, уж очень понравились ему слова «земля и воля», хоть земли не представлял себе иной, кроме Воробьевых Гор, а волю поминал лишь когда Шибанов Иван из третьего параллельного курил без стеснения в уборной — «дашь волю, на голову сядут!» . . .

Но любит русский человек дальнее, чего пальцем не зацепишь, и полюбил Григорий Васильевич больше самовара, больше книжек Водовозова, больше всего на свете — «Землю и волю».

Все это оказалось впрочем милой присказкой, а когда дело дошло до сказки, то вмиг разлюбил Скворцов всякие возгласы, никаких слов не произносил, и с хозяйкой вкупе, на сундучке в корридоре плакал до полного удовлетворения.

Существовала ли гимназия, нет ли, никто на этот вопрос ответить не мог. Стоял разумеется супротив храма Христа Спасителя дом почтенный с колонками и приходили туда люди, то-есть учителя удрученные, не ступая по корридорам важно с журналами, но будто телега на трех колесах подпрыгивая, останавливаясь, всяческих пакостей ожидая, и обормоты возымевшие, банды без гербов, с советами, обезьянства ради. Ну, встретятся, покричат и одно от этого душевное недоразумение! . .

Не выдержал к лету Скворцов: голод взял, не то что плюшки, ржаного не сыщешь, пуще голода неопределенность безмерная. Даже «Русские Ведомости» провалились! Жить зачем? Не'приютно, скверно жить стало! «Вот и народ освобожденный», думал он, — «Тунеядцы! живодеры! хамье! Мало их били и каким же дураком был я! . . Тоже! Свобода!» Думал словом, как многие, не только надзиратели классные, но и профессора маститые, прежде даже слов этих бранных не знавшие. Разярясь, хозяйке на растопку пачку брошюр выдал, но от этого легче не сделалось. Стал глядеть как всегда, что другие придумают, а другие придумали бежать, и за ними, не колеблясь, рысью сорвался Скворцов Григорий Васильевич, уж не надзирателем стал, бегуном.

Трудное это ремесло, кто сам не испытал не поймет! Для почина ждал Скворцова на границе немецкой, что проходила, впрочем, как раз по середине России, в местечке Михайловском, где никому прежде и во сне граница не мерещилась, подзатыльник фельдфебеля германского, хороший подзатыльник, увесистый, чтобы не вылезал он из череда. Больно было, но как не согласиться, ведь от беспорядка убег, надо учителям, педелям чужеязычным поклониться низко, затылок по-русски ру-

кой привычной почесывая. Не долго спасался Скворцов в Киеве, подступили «живодеры», кинулся в Одессу, там через Днестр на лодочке в Бессарабию и пошло круговращение, не жизнь, но одно сплошное «Вокруг Света».

На что румыны не серьезный народ, гитаристый, и те презирали, по участкам гоняли, мыли, дезинфекцию устраивали, а уж когда все процедуры закончили, выставили без церемоний.

Год целый блуждал по Европе Скворцов, из комитета в комитет, гроши выклянчивая, так и шарили по душе всякие допросчики, благодетели осторожные, ничего своего внутри не осталось, все давно выложил. Еще промышлял, чем мог: в Кишиневе о переправе ужасной через реку с тремя потоплениями за порцию телятины рассказывал журналисту бойкому, в Данциге набивал папиросы на русский вкус, в Берлине в кинематографе для специальной фильмы комиссара — зверя изображал и должен был для сего строить изуверские рожи. Приходилось средь всего и окурочки на мостовой подбирать, и в поле проходя (познал он землю наконец!) морквой сырой не брезгать. Тихим был он учеником, все пинки принимал смиренно. «Варвары, трусы, азиаты, разбойники, предатели!» — покрикивали европейцы чистенькие, со сладострастьем перед носом его вертя жирным бифштексом и от великого человеколюбия кидая ему напоследок корку, которой ни одна собака цивилизованная есть не станет. «Что же, их земля, порядок соблюли, могут над нами шаромыжниками измываться. Слова не скажешь в ответ».

Попал наконец судьбами неисповедимыми Скворцов во Францию, и не в Париж прекрасный, а в маленький город Пуатье. Подумав и дивиться нечему, где же теперь не сидит хоть какой-нибудь злосчастный бегун. Чует сердце и в Полинезии эмигрантский комитет существует. В Пуатье повезло Григорию Васильевичу, нанял его мосье Лор в кафе свое «Рэжанс» гарсоном, но поставил условием, чтобы сбрил он свою дикарскую бороду. После-

дний позор пережил Скворцов — с бородой растаться, на положение бритого шелопая, безбородого мальчишки перейти. Была для него бородка неким скипетром, гербом достоинства, родственной формой далеких, по свету рассеянных читателей «Русских Ведомостей», и когда полетели под ножницами парикмахера Жюля жидкие седенькие клочья, понял он, что падает это русская земля, не та, что с «Волей», но настоящая, на которой стоял домик Плющихский, понял и под смешки Жюля горько расплакался.

Пуатье город тихий, чинный, и зря, без толку, в кафе никто не ходит. Только к пяти часам приходили в «Рэжанс» завсегдатаи: владелец молочной, бухгалтер «Учетного Банка», отставной полковник из колониальных, рентьеров пяток. Пили аперитивы, т.е. настойки хинные для пищеварения улучшенного, толковали о дочери Жюля — парикмахера, убежавшей с американским солдатом, о краже в поезде — (все Россия виновата, разбойников питомник!) — о политике: какая Англия хитрая, Германия злая, Россия непослушливая и все отчего-то французов, даже пуативинцов, даже вот его, владельца молочной мосье Лево, обидеть норовят. Но пожаловавшись, и то не в серьез, скорей для размягчения некоторого, наслаждались вдоволь, ибо был горек и золот вермут, сине холеное небо, тиха и прекрасна жизнь в милом Пуатье. Порой играли в трик-трак, и побежденный раскошеливался на второй ряд стаканов. А к вечеру снова «Режанс» пустело — забредет разве приезжий коммивояжер, и наспех, просматривая указатель адресный, проглотит кружку пива.

Зато в воскресенье оживало кафе, приводили завсегдатаи свои семьи, жен напудренных не хуже парижского, так что Скворцову бедному они даже не женами казались, ребят гуртом,, и малый какой-нибудь всю торжественность совершающегося понимая, в предчувствии времени, когда и он будет каждый день здесь за аперитивом

взвешивать судьбы мировые, медленно, сквозь соломинку, тянул красный сироп.

Мосье Лор завсегдатаям на нового гарсона указал — достопримечательность, раритет! И те с любопытством мирного дяди, рассматривающего бомбу несколько дней подряд изучали Григория Васильевича. Потом высказались: мосье Лево осудил — хоть этот с виду ничего, но вообще азиаты, татары почти, и хорошо бы хозяину за кассой в оба смотреть Бухгалтер в небеса залез — «мистики они — вот посмотрите, как этот гарсон на потолок смотрит, совсем Толстой, только все же напрасно их к нам пускают». Полковник разумеется о предательстве вспомнил и Скворцова, несмотря на возраст преклонный спросил: дрался ли он с бошами или немецкие серебренники считал? Но Григорий Васильевич, привыкший за время странствий ко всяким укорам, совсем не обижался, в ответ он лишь виновато и жалостливо улыбался. Как-то еще зашел в кафе гражданин Потра, коммунист местный, и обругал Скворцова лакеем царским, заговорщиком, банкиром пузатым (хоть был он худ до безобразия) и другими несуразностями, но и ему, смахнув со стола гроши чаевые, также тихо улыбнулся лакей, не царский, конечно, а только «Режановский».

Не от этих насмешек невинных пошло несчастие Григория Васильевича, а от долгих досугов. Пока разносил он на подносе стопочки, рюмочки, кружки, или старался, шестью своими десятками пренебрегая, карьером промчаться на веранду, на ходу из кофейника выплескивая в воскресные семейные чашки кофе — все шло хорошо. Но в свободные часы, а немало их было с восьми утра до полночи, начал Скворцов, себе и людям на горе, думать, тщился объять происшедшее, прикладывал ум, но ничего не получалось, или вернее получалось несообразное, глупое до анекдота. Пока шлялся он по всяким странам, не до выяснения первопричин было, а вот здесь, сидя в уголке с тряпкой, посетителей поджидая, дошел до корней самых.

Получалось, что все виноваты, никто не виноват, а главное был домик на Плющихе, и нет его, была у него страна — бегуном остался. Дойдя до этого Скворцов точки не поставил, не замолк, не стал каяться иль плакаться, но почуял ненависть неодолимую, вот к этим мирным, хорошим, покойным людям, которым не нужно ни до чего докапываться, сидят себе и пьют для аппетита. «Для аппетита» — и вспоминались города голодные, ребята, вымаливающие корочку какую-нибудь, кожуру колбасную, хвост селедочный. А вот этим хоть что, сидят и кости кидают, радуются ... Разве жир прошибешь словом Резать надо, вот что! ..

Так случилось невероятное: добродушный, трусливый старичек, помощник классного наставника Григорий Васильевич Скворцов на шестьдесят первом году дошел до помыслов страшных, прямо уголовных. Не мог он вынести в муке своей чужой радости. Если б еще эти французы хоть по нашему разгульно пили, били бы стаканы, пели, грозились ножами, целовались, каялись, мог бы понять это Скворцов, самому хотелось порой залпом из горлышка выхлестать бутылку, чтоб очуметь, заплясать, и прикончиться. Но не то происходило — радовались люди, тихо, ясно, жаром не убивая, за тучи не прячась, как легкое светило, что плывет тысячи лет над этой блаженной, бесслезной землей, не раскатисто смеялись, но улыбались лишь, и не мог вынести Григорий Васильевич вечного, нестыдящегося, избыточного счастья. Мало по малу покорила его новая нелепая мысль: всему виной довольство красношеих, почтенных гостей, а особливо мосье Лево.

Были, ведь, и у него когда-то комнатка беленая, самовар, «Барс» — мурлыка, чай попивая и он не о многом думал, если прогресс призывал, то скорее всего тоже для пищеварения, но об этом не вспоминал одержимый безумием Скворцов. От ненависти перешел он к подвигу — сразив Лево толстенького, мир очистит, родину воскресит, вернутся бегуны на тихие Плющихи, гибелью молочника да его, Скворцова, тысячи тысяч спасутся.

Если б узнал мосье Лево об этих мыслях тайных, безусловно рассмеялся бы — ну разве не азиаты? Не татары полуумные? И вправду, глупостей много повсюду думают, но нигде они до такой махровой святости не доходят; и убивать убивают, но просто из ревности, что ли, или кошельком поживиться, а у нас не иначе, как мир спасая, не нож в живот, а крест подвижнический. Подозрительная страна — даже не страна, а сплошная палата, сторожа и те заплясали почище больных. Если завтра земля сдвинется, вместо хлеба всколосится щетиной ежьей, или перьями петушьими, — (ведь не простая она — откровений край, не по шоссе европейским, а по ее бездорожьям Царь Небесный шагал) — никто, кажется, не удивится, мосье Лево прочтет, улыбнется — в Татарии выдумали щетину сеять! Мистики!

Впрочем мосье Лево о всех замыслах Скворцова ничего не ведал и двадцать четвертого мая пришел, как обычно, часам к пяти в «Режанс», дружески кинув Григорию Васильевичу:

«Ну, старина, как дела? Пикон с лимоном». И в ожидании друзей, а также приятного ледяного питья, стал гладить слегка свои кругленькие коленки. Тогда, увидав этот жест довольства предельного, блаженный, неизъяснимый жест, понял Григорий Васильевич, что час настал, вместо бутылки схватил со стойки вилку десертную, подскочил к Лево, и старческие силы напрягая, воткнул ее в мягкую, расползающуюся спину.

Завизжав ужасно, метнулся мосье Лево, подскочил, повалил на пол Скворцова. («Вяжите убийцу!») Прибежали полицейские, поволокли преступника на допрос.

Чего только не развели на следующий день все девятьсот французских газет — стал Скворцов большевиком знаменитым, германским наемником. Требовали, чтоб русских всех строго на строго проверили, прощупали, перетряхнули — нет ли среди них еще коммунистов Скворцовского толка. Уверяли, что по глупости принял бандит мосье Лево за некоего министра. Словом, нагоняли

строки. А в том же «Режанс» и в тысячах других кафе в час аперитива гам стоял, оживление необычайное, — всех ограбленных поездов интересней, жутко — уж не крадется ли за стойкой сообщник Скворцова, — жутко и весело.

Оправился мосье Лево, гордо пришел в «Режанс», как король вновь сел на возвращенный престол и у нового гарсона спросил невыпитый в памятный день Пикон, улыбаясь жизни сохраненной, погоде хорошей, всем и всему.

Скворцова допрашивали, но мычал он невнятное. Решили — сумасшедшим прикидывается.

«Вы большевик?» — спросил его председатель суда.

— Избави Бог!

— Хотели ограбить?

— Что вы такое говорите, честный я человек.

— Так почему же вы хотели убить мосье Лево?

Но на этот главный, простой и страшный вопрос ничего не мог Скворцов ответить.

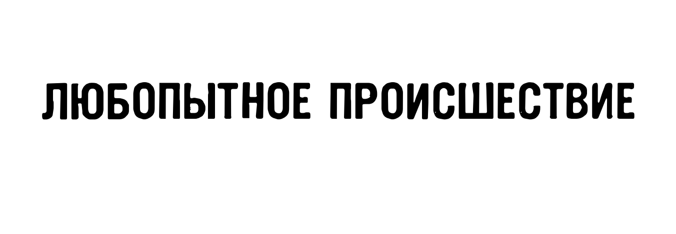
Он умел читать детям нотации, покупать папиросы, отвечать — «имя, фамилия, звание, местожительство», — но говорить, так чтоб душу выложить, он не знал как это делается: не было у него в жизни ни женщины любимой, ни друзей закадычных, никого, один пробрел от приютских стен вот до этой скамьи подсудимых. А хотелось бы сказать много: что не большевик он вовсе, сам большевиков пуще огня боится, от них убег, бросил все, бороду сбрил, что очень любит он французов, даже в Москве читал Марго учебник и умилялся — какой язык, не язык, а поэзия чистая — всех вообще любит, и мосье Лево тоже, но только должен он его убить, ибо мука в нем, томление, снялся он с места, понесло, сил нет удержаться. Хотелось сказать еще, что не стерпит мир довольства аперитивочного, радости коленки потирающих, что вот он надзиратель, педель, и то бывший, бегун без отечества, сразит, любя, улыбающуюся голову в котелке.

Хотелось, да не было сил, и три раза крикнув «бегун я!», упал Скворцов на скамью.

Когда же председатель прочел приговор — каторжные работы, и еще что-то, долго читал, сложно, мало что понял Скворцов — он быстро вскочил, и одному котелку, тоже улыбкой ужасной просветленному, показал свой старческий, дряблый, трясучий кулачек. Его быстро вывели.

А на завтра, прочитав о том, что кровожадный злодей, не только не раскаялся, но еще в помыслах низких упорствовал, мосье Лево сказал полковнику: «Разве я не был прав? Азиаты! Хорошо, что мы с вами родились во Франции! Сегодня прекрасный вечер, хотите партию трик-трака?»

Да азиаты, опасные азиаты!


ЛЮБОПЫТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

ЛЮБОПЫТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
(Рассказ обывателя)

Кобели существуют, всякий знает, время теперь — собачьи свадьбы под окном, есть город Кобеляки, кажется Полтавской губернии, странное название, еще кабели, это уж сложней и концессиями пахнет. Кто-то говорил, что в Германии немец Эйнштейн выдумал теорию относительности. Может быть, а вообще скучно в городке нашем, даром что Рософосер, слов нет, чтоб сказать до чего скучно.

Только и интереса, что, где и как выдают. Маруся уверяла, что в Рабкрине по фунту изюма предполагают. Вкусная вещь, только не врет ли? А в Собесе по пол курицы на рыло, тоже невредно. Только у нас все еще раскачаться не могут, дальше пшена лежалого не идут. Ну, да может к первому маю и нас не обойдут, конфет что-ли, или колбаски пожалуют. Так и живем от пайка до пайка. Скучно!

А недавно было в нашем городе происшествие любопытное, прямо достойное радио, немного развлеклись мы: среди бела дня пропал председатель исполкома, товарищ Терехин, или еще «товарищ Валентин», как называют его по старой памяти коммунисты, а иногда для форса и «сочи», т. е. сочувствующие. Имя звучное, романтическое, но лишь для высоких политических сфер, ибо зовут на самом деле Терехина Иваном Ильичем. Пропал Терехин в субботу, примерно в полдень. Утром заходил он еще в Наробраз побеседовать с товарищем Браудэ, как бы на выборах к партсъезду провести сторон-

ников Троцкого, и профсоюзы, где сидит товарищ Бирюк, бывший меньшевик, от которого на версту соглашательством несет, перетряхнуть вежливенько. А в два часа дня на заседание Исполкома, где должен был обсуждаться вопрос важности первостепенной, Терехин не явился, и прождав его до четырех, сотоварищи подняли тревогу.

Следует сказать, что только в глазах невежественного профана «чека» — это нечто простое, что сразу понять можно. На самом деле учреждение это сложное и деликатное с механизмом, который по диллетантски, с маху не постигнешь. «Чеки» много, и вся она разная, есть у нас представители «вечека», есть «губчека», есть «орточека», есть «уточека», (ее любители буколики «уточкой» обозвали), есть и совсем особая, «ОО», такая страшная, что даже наш заведующий секцией, на что важный, в комячейке состоит, лошадьми пользуется, и тот, когда заговоришь с ним об «ОО» этой, ерзать начинает:

«И что вы всегда о таком вспоминаете, лучше бы о музее нашем, или о детках в яслях, миленькие дети, крохотные, а то и неровен час, сами знаете, ведь я «мартовский», плохой выводок, нестойкий, как анкету о стаже подписываю, рука дрожит и росчерк подозрительный получается, вроде старорежимного . . .»

Так вот все «чеки» дружно взялись за дело, защелкали машинки, забегали элегантные сотрудники, все автомобили города засопели, ну, и, надо признаться, обыватели струхнули изрядно, — уж очень все это недобрые признаки. Одни уверяли, что раскрыт заговор, не то монархистов, не то анархистов и сейчас начнут обстреливать городской театр, где будто монархисты или анархисты, свергнув власть, строчат радио в Европу (радио стали у нас привычными, легче кажется всю Эйфелеву башню нотами закидать, нежели городскую открытку отправить, вот наш секретарь Попов, когда машинистка Шумова спрашивает, что на свете новенького, — глядя на ноги ее в огромных бобриковых валенках, галантно восклицает: «Вы Терпсихора, — последнее саморадио»).

Другие утверждали, что никакого заговора нет, в театре идет репетиция «Гамлета», приспособленного артистом Клюковым для производственной агитации, а чекисты суетятся по случаю нового сбора излишков. Туманное слово «излишки», когда-то в детстве еще читал я в книжке, будто американские рабочие бисквиты едят. Конечно, сам я в Америке не был, возможно выдумка. Но у нас на сей счет построже будут. Когда последний раз просматривали потрохи, у статистика Кчемина забрали два фунта сахарного песку и теплый вязаный жилет, без которого Кчемин заболевал коликами в желудке, объявив это «излишками». Говорили, будто на сей раз отнимут все самовары, ибо медь нужна на пушки, и жена фельдшера Глумова, из Наркомздрава, свой брюхатый тщетно пыталась спрятать в пустом курятнике, присыпав за отсутствием соломы, золой. А на окраинах бабки измышляли уж совсем бессмысленные вещи, — будто чекисты гоняются за «прыгунчиками», у которых лицо ночью светится, ноги на пружинах, так что прыгать могут без натуги выше каланчи, и прибыли из американского царства, чтобы отомстить поругателям мощей святителя Трифона. Оживились все, хоть и боязно стало, но все-таки происшествие.

А автомобили гудели, свистели, рыскали, до вышедшей эссенции и лопнувших шин старались разыскать товарища Терехина. Обошли все отделы, подотделы, комиссии, коматы, ячейки города. Заглянули в музей, где Клик, наш художник признанный, объяснял двум ломовикам, пришедшим за отсутствием чайной малость обогреться, что есть фактура и есть конструкция. Увидев чекистов, Клик, будучи от природы крайне скромным, присел в уголок за какой-то глиняный шар с жестяной покрышкой, именуемый «памятником Спартаку». Просмотрели общественный сад. Даже к Анне Николаевне, у которой иные чекисты получали шипучее и трубочки с заварным кремом, забежали, хоть и знали, что Терехин страшнейший педант, даже от повышенного пайка осенью отказался.

Пошарили за городом. К вечеру стало ясно, что это ничто иное, как контр-революция.

Исполком заседал почти до рассвета, чекисты к Анне Николаевне не пошли, а всю ночь честно работали, получив предписание арестовать заложников из среды буржуазии, духовенства и левых эсеров.

Взяли помощника присяжного поверенного Тугенштейна, из комюста, по привычке — его всегда брали, обходилось дело тихо, почти любовно, и, Тугенштейн на ночной звонок (даже телеграфистами не приходилось прикидываться) выходил сразу одетый, с подушкой под мышкой. Взяли еще лавочника Митрофана Саввича Романова, торговавшего прежде москательным товаром, а теперь «кустарными изделиями», т. е. половыми щетками, бисером и кислой капустой. Романова губила его явно неудобная фамилия, просил он разрешения именоваться впредь Краснолобовым, но ему было отказано, ввиду паразитического происхождения. Эти два были от буржуазии. От духовенства взяли одного протодьякона, да и тот идти не хотел, жаловался на паралич, валялся в ногах и цеплялся за дьячиху, завывавшую: «Прощай Иона, супруг мой любезный!» Труднее всего было с эсерами —хоть город у нас порядочный губернский, но эсеров в нем не осталось совсем, вывели давно. Весной семнадцатого на каждой тумбе эсер торчал, а теперь, как ни ищи, все равно не выкопать. Одних пристрелили при мятежах различных, другие сбежали, третьи коммунистами заделались. Имеется, правда, бывший студентик Пиликин, летом семнадцатого устраивавший в училище живые картины с сопроводительными речами приезжего эсера. Его можно прихватить, да на беду он этой зимой сидел уж два раза, как правый эсер, а теперь предписано ущемить левых. После долгих поисков изловили служащую продкома Леватидову, которая по ее же словам сочувствовала прежде эсерам, даже с Черновым, будучи в Питере, на митинге ласково перемигивалась, а последнее время полевела, словом, если и не совсем, то приблизительно.

Арестовать — арестовали, — весь город перетряхнули — Терехина не было. А находился он в месте, куда, конечно, уж никакой чекист, даже самый рьяный, заглянуть не надумал, а именно в общей камере губернской тюрьмы. Председатель исполкома, — средь всякой белогвардейской шантрапы!

Чтоб это непостижимое происшествие стало ясным, необходимо остановиться на двух предметах: на особенностях натуры Терехина и на галантных авантюрах сторожа Емельича. Терехин был человеком мечтательным, не займись он еще в гимназические годы политикой, вышел бы из него уездный статистик, который посреди села, глядя на чушку и слюнтяя — мальчишку, стравливающего сучек, прозревает душу природы и приехав домой читает на сон страничку о пантеизме Спинозы или еще в своей кухарке Луше чует Дульцинею плюс Вечная Женственность Соловьева. Человек безусловно возвышенный! Но в пятом классе прочел Терехин брошюрку «Пауки и мухи», возмутился нехорошим устроением мира, и отважно порешил все переделать заново. Сначала таскал «литературу», потом был произведен в пропагандисты и восьми рабочим с кирпичного завода «Глашки», прерывавшим его нудными вопросами: «вот как же насчет землицы?» читал об историческом материализме, особенно цитируя «Анти-Дюринга». Вскоре он попал в тюрьму, и потом уж из семи лет до революции четыре с половиной года провел за решеткой. В тюрьмах читал он умные книжки, делал конспекты, и до одурения спорил с меньшевиками, защищая «отрезки» против муниципализации. В краткие промежутки, обретаясь на воле, он тоже срамил меньшевиков, но уже на всяческих собраниях, и считался мастером составлять сложные резолюции с предпосылками, особенно нежно родительски повторяя: «принимая во внимание, что...» Ютился он на ночевках, а обедал, и то в самых дрянных харчевнях, лишь когда ему об этом напоминали: «да, да, конечно, вы

правы, питаться совершенно необходимо». Женщин совсем не знал, хотел как-то сойтись с какой-нибудь для идейной близости и совместной борьбы рука об руку, но запамятовал или времени не хватило.

Когда началась революция, сидел он далеко в Сибири. Приехав в наш город сразу выступил с агитацией большевистской. Посему наши интеллигенты и объявили со всеми деталями, что получил Терехин лично от фельдмаршала Гинденбурга сто тысяч марок и золотые часы в придачу (стоит рассказать, что Терехин деньги не только ненавидел, но и держать боялся: когда раз очутились у него триста рублей «партийных», он от забот расстроился, перестал читать Анти-Дюринга и наконец сплавил их секретарю).

В октябрские дни, во время короткой перестрелки с кучкой офицеров, Терехин был серьезно ранен, и полгода провалялся в госпитале. Потом поехал в Москву, писал до потери последних сил резолюции с пунктами, но был комитетом партии мобилизован для «работы на местах» и этой зимой вернулся к нам уже в качестве председателя исполкома.

Удивительно, какие есть люди,, — ходят они по земле, шлепают по лужам, наступают на плевки, и на прочую пакость, а все им кажется, что кругом цветочный луг, с отменными благоуханиями. Хорошая вещь коммунизм, высокая, большие дела, верно в Москве делаются, но вот мы в захолустьи нашем, по обычной человеческой ограниченности, больше эти плевочки замечали. Терехин же радовался, не власти и положению своему, ибо был кроток и скромен настолько, что никак не мог попросить заведующего складами выдать ему кальсоны вместо сносившихся и солдатскими штанами стер всю кожу с ног, нет, радовался он величию происходящего. В качестве председателя исполкома приходилось ему заниматься организацией хлебопекарен, борьбой с сыпняком, поставкой крестьянами картошки. Но все эти будничные дела

возводил он на многоэтажные сооружения своих «принимая во внимание...» и там парили они совместно с мировой революцией, воспитанием коммунистического юношества, гигантскими видениями нового потопа, безумного ковчега среди вод, и прекрасного берега, который ясен и близок.

В памятный для всех обитателей города, особливо для дьякона Ионы, день, побеседовав с Браудэ, направился Терехин в клуб подростков, где должно было состояться литературное утро в память Розы Люксембург. Проходя по Павловской, мимо тюрьмы, он остановился, охваченный воспоминаниями. Здесь, в этом сыром, стареньком остроге, прошли его юношеские годы. Терехин почувствовал нежность к кривой башенке с крохотными решетчатыми щелками. К этому примешивалась и гордость — мы разбили Бастилию, из застенков сделали неизбежный приют для дефективных детей общества. Взглянув на часы и подумав, что утро начнется уж безусловно не без опоздания, Терехин решительно постучал в тюремные ворота.

Начальника тюрьмы не было, а заменял его старший сторож Емельич, давний знакомый Терехина, не мало пакостивший ему в свое время ночными обысками, ковырянием старой шашкой в тюфяке, и даже залезаниями в рот — не припрятана ли там тайная записочка. Емельич ничуть не смутился, но наоборот всячески старался проявить свое удовольствие по поводу неожиданного визита.

«Обозреть пожаловали? Так то оно лучше, чем изнутри, т.е. при царе проклятом!.. Уж вы тогда мне высоким человеком казались, отменного поведения, я и брату говорил: «арестант Терехин в люди выйдет». Проводить позволите?»

Но Терехину Емельич вовсе не нравился, глядя на эти молодцеватые усы вспоминалось больше нехорошее, и показав для порядка свой мандат, он сказал, что пройдет в камеры один.

Здесь надобно перейти от титанических видений Терехина к мелким страстишкам Емельича. Не пил человек, не курил, в карты никогда не играл, но зато был падок до баб, одно слово — бык! Если собрать всех девок попорченных им за жизнь — целый город получится. Никакие опасности остановить его не могли. В деревне Пашевке парни избили его, прикрыв мешками, долго били, переломали ребро, после чего он и пошел в тюремные сторожа, потеряв, по его словам, к иным должностям телесные возможности. Три года тому назад, прельщенный арестанткой Фенькой, перевел он ее для удобства из тюрьмы к себе на квартиру. Фенька, случая не теряя, сбежала, и Емельича не только уволили, но и посадили под замок. Впрочем пришла скоро революция, Емельича выпустили, и он, не смущаясь, причислил и себя и Феньку к политическим, после чего был восстановлен в своих прежних правах. Теперь Емельич был одержим жаждой смягчить сердце молодой наездницы одесского госсударственного передвижного цирка, Дуни Левченко, или по афише Леонеллы. Он знал безусловно, что не устоит Леонелла перед усами, перед уменьем многоопытным и стишок повторить и во время ткнуть в бок, перед неописуемым жаром дыхания. «Издали защекочу», — ухмылялся он. Но на беду ходил с Леонеллой повсюду, ни на шаг не отступая, бывший боксер, а «теперь «инструктор по физическому воспитанию», некто Чуб, с весьма недвусмысленными кулачищами. Тщетно две недели караулил Емельич — не пройдет ли Леонелла одна. И вот теперь, пропустив Терехина, выйдя за ворота проветриться, увидал он наездницу, которая покупала у бабы на углу Коровьего проулка моченое яблоко. Быстро передав ключи младшему сторожу Бугачеву, Емельич кинулся в догонку, и далее пошло сплошное подтвержение всех бахвальств неотразимого усача. На срам Чубу наездница была увлечена в каморку Емельича. Будучи по счету не сотой, а женщиной, которую встретил на своем веку Емельич, тысячной, Леонелла оказалась самой необыкновенной

недаром побывала она не только в Одессе, но даже в Бухаресте. Мог ли он глядя на ее жаркие плечи думать о каком-то Терехине? Только в понедельник далеко за полдень, когда Леонелла решительно заявила, что пора ей, честной труженице, вернуться к лошадям, (о Чубе же, хоть был он и главным обстоятельством, благоразумно умолчав) Емельич выполз нечесанный, оголтелый на улицу и там сразу узнал о потрясающих событиях.

Но все это было в понедельник, а в субботу Терехин, отклонив услуги Емельича пошел по темному, пахнувшему парашей корридорчику. Прежде всего заглянул он в камеру уголовных. Посреди сидел рыжий детина, в одних портках, медленно, деловито похрустывая вошками, густо изукрасившими нежным серебристым бисером его волосатую грудь. Позади двое, очень юрких, скорей всего форточники, содружно плевались, истошно напевая: «Мы из Вязьмы два громилы и в тюрьме недавно были . .» Еще ругался кто-то, так, как ругаться могут люди только свободные, досугами располагающие, т. е. громоздя на бабку прабабку. Хоть картина эта Терехину, прошедшему через Бутырки, Лукьяновку, Самарскую и многие иные места, была знакома, он удивился, ибо давно уж о тюрьмах думал не по воспоминаниям, а по статье в «Вестнике Наркомюста», очень хорошей статье, с мастерскими игрушек, концертами и даже древонасаждением.

«Вы, товарищи, довольны ли Советской властью?» спросил от растерянности Терехин, сам понимая, что глупый вопрос, никчемный, лучше б записать злоупотребления и в Рабкрин сегодня же послать, но так вышло. Прямого ответа не последовало, только детина, не выпуская из под пальца очередной жертвы, громко, раздельно сказал:

«Власть!»

Но в укор ли, в хвалу ли, или просто, чтоб сказать слово, так никто и не понял. Зато форточник, прошмыгнув вперед, пропел тоненько:

«Товарищ, разрешите папиросочку попросить», и, сжимая добычу: «Ява»-с. Первый деликатесс!»

От всего этого стало Терехину неприятно, захотелось уйти поскорее, сидеть в школе и слушать, как поют дети, звончатые, веселые, подмывают: «Это есть наш последний . . .» Он постоял еще в нерешительности на пороге «политической», но не вошел. Сколько трогательного связано с этой паскудной порой — здесь борцы сидели неунывающие, будильщики, и теперь увидать на знакомых нарах жандармов юлящих, палачей, трусов, убоявшихся великих свершений. Нет! Терехин прошел мимо и громко, нетерпеливо постучал в дверь, выходившую в сборную возле конторы (тюрьма в нашем городе древняя, почти историческая, но уж без всякого комфорта и устройства примитивного). На стук к волчку подошел Бугачев дремавший мирно на диванчике в конторе:

— Чаво шумишь?

Терехин пояснил вежливо:

— Товарищ, откройте дверь, я кончил осмотр камер!

— Ты что, сукин внук, буйствовать? . . «Кончил!» Вот я те кончу, живо харю разузорю!»

— Как вы смеете, я не арестант, я председатель исполкома.

— Знаем вас, халуев, стримулятор ты, вот что!

Последнее определение было очевидно Бугачевским откликом на подслушанное им как-то от тюремного врача интересное словечко «симулирует».

— У нас один зимой, хайло мавританское, Господом Богом себя объявил, громы испускал, хотели его в лечебницу свести, ну я живо без дохтуров вылечил!

— Вот мандат с печатью.

— Ах ты хлюст паршивый, я те за такие слова всю твою карточку припечатаю, —и показав в окошечко свой кулак, веса доброго, Бугачев пошел досыпать на диванчик.

Ужасно обидно, весь день пропадет, в два исполком — подумал Терехин, ну да к вечеру этот Емельич вернется

на смену, или в городе хватятся. Пока что надо ждать. И поглядывая на мокрый корридорчик, где и присесть негде было, Терехин, скорей по прывычке, поплелся в политическую, вошел не здороваясь ни с кем, и мрачно сел на свободный краешек нар.

В раздражении он не глядел на заключенных. Слышно было шушуканье: «новенький!» Потом подошел к нему мальчишка в косоворотке и с достоинством спросил: «Товарищ, вы партийный?» Терехин кратко пробурчал «да», а мальчишка представился: «Беспартийный анархист, отрицаю цепи. Арестован за то, что в общественном саду не встал при исполнении интернационала и публично прямо сказал: «выше всего свободная личность!» Статья 129-ая, пронеслось в голове Терехина.

За мальчишкой другие похрабрели — старикан бородатый ласково Терехина потеребил за ворот и ткнул в миску с холодной баландой.

«Похлебайте, миленький, натощак оно совсем неутешительно».

«Да,да, питаться необходимо», как-то машинально ответил Терехин и стал честно глотать помоистую бурду, а старик в это время, пользуясь оказией, в сотый раз жаловался:

«Какой я преступник? Посудите сами, всю жизнь в повиновении пребываю. На именинах кума Чижина, столяр белодеревец, не слышали? роспили мы бутыль ханжи, вот и поддался, оглупел, до неуважительности. Побрел домой, а утречком очухался, смотрю — батюшки, где я? по воровскому в милиции! Ты, говорят, преступник, ночью на Главной улице кричал: «За тормашки Ленина вашего стащу!» и прочее неповторимое. Ну, ка кой-же я преступник, в таком злоключении, т. е. от ханжи этой треклятой долго ли обмолвиться?»

И снова Терехину вспомнилось: «оскорбление величества . . . статья 103-ья . . .» И потянулись мысли по этой дорожке — у писаря веснущатого нашли прокламацию «возрожденцев» какие-то, за хранение, значит, статья легкая 123-ая . . .Так вошел Терехин в этот быт привыч-

ный что даже задумался — по какой же он сам статье сидит? Но от этих вздорных раздумий был отвлечен ласковым возгласом:

«Товарищ Валентин, вы то какими судьбами? Неужто раскрамольничались?»

Рядом стоял давнишний приятель, спорщик неуемный товарищ Игорь (или Исаак Львович Зильберман), закоренелый меньшевик, сиживавший не раз вместе с Терехиным. Нескрыто обрадовался Терехин, но и смутился, сам не зная почему, очень хотелось ему ответить, что он тоже плотно засел, по солидной статье, 102-ой что-ли, но соврать не мог и виновато пробормотал:

— Я по недосмотру!

Сразу стали поминать старое — годы «объединенной», как на предсъездовских дискуссиях грызлись дружески, (Терехин с Урала большущий мандат раздобыл, а Зильберман промышлял все больше печатниками), как бегали по проходным дворам, устраивали в чайных «явки», глотали папиросные бумажки с адресами («связи»), как в Лукьяновке их обоих избил до крови надзиратель, а потом швырнул в карцер, где по ночам шныряли жирнущие крысы и залезали в ухо мерзкие мокрицы, как мечтали они оба — скоро, скоро, кончится все это, будет по иному, как, толком не расскажешь, даже понять — не поймешь, но совсем по иному... Обо всем поговорили, даже квартирную хозяйку Бравэ, спрятавшую Терехина во время обыска в узел с бельем, вспомнили, потом сразу замолчали. Зильберман думал о том, что все это, почему-то, по случайности какой-то, по недомыслию вот таких Терехиных, близких, своих, не стало иным, а осталось прежним, с прежним пакостником Емельичем, шмыгающим по миру, с той же огромной парашей посреди всего. А Терехин просто болел глубокой, человеческой болью, которая начинается с шишки дитяти, захотевшего перелезть через забор, а кончается отчаянным предсмертным брюзжанием, когда кто-то невольно кладет на одну чашечку весов пятьдесят прожитых без толку лет, а на другую

задорные вымыслы, диковинную веру молоденького паренька, не умеющего еще горбиться, припадать к земле и честно безо всяких мудрствований плакать.

Снова заговорили, даже заспорили. Зильберман не менее Терехина умел закручивать саженные «принимая во внимание» и обрадовавшись возможности, начал подводить под всяческие ошибки, под декреты, даже под Емельича некие «базы» с придаточными, скобками и выразительными «мы предупреждали». Терехин ясно понимал, что Зильберман несет чушь, что не в «учредилке» здесь дело и легко бы мог, как некогда, крепкими ядрами диалектики разбить все эффектные пирамиды соглашателей. Но вместо этого он маловыразительно мычал, предоставляя Зильберману переживать радость легкой победы. Как мог он спорить с ним, — он — Терехин, в роли почти жандармского ротмистра, с добродетельным нелегальным, переживающим свой девятый или десятый «провал»?

Зильберман закончил эффектным напоминанием о прочности тюрем. Чувствуя себя уж арестантом, сразу войдя в привычный родной быт, Терехин оживился, расспрашивать стал, как сидится? по каким дням передачи? дают ли теперь книги из библиотеки, кроме замусоленного «Патерика»? шляется ли по ночам Емельич, решетки выстукивая и галстухи «по любви ко твари грешной» у особенно мрачных на всякий случай отбирая? С толком, входя в суть даже детали мельчайшей, отвечал на вопросы Зильберман: все по прежнему, даже «Патерик» изъять позабыли, ни зверств каких-нибудь романтических, ни древонасаждений, тихо, мирно, тюрьма,, как тюрьма.

Вечер подошел. Уголовные притащили парашу и чан с кипятком. За неимением чая, кинули яблоки сушеные, попили, залегли, голова к ногам в ряд. Прародителей помянув, Бугачев запер камеру. Пошло сначала тонкое, редкое подсапывание, потом густой, ровный, как бы спевшихся, храп. Только Терехин не спал, и виной сему были не облепившие его вши, не крепкий парашин дух, но со-

вершенно ему не свойственные, неприличные даже мысли. Речи товарища Игоря его не поколебали, что ж меньшевику делать, если не причитать «а мы предупреждали»? Нет, не в этом дело, не в программах, не в тактике, не в резолюциях! Терехин тщился разрешить непосильный вопрос, в самую утробу залезть, допытаться, как же это так все устроено, помимо царей, меньшевиков и большевиков, что был Емельич, есть, и, видно, во веки веков будет, ну подучится, усы сбреет, не будет пропадать,, мошенник, среди бела дня, а все-таки Емельичем останется. Что это за паскудная болезнь, взрежешь только нарыв на голове, выскочит где-нибудь пониже. В чем же самая суть, последнее зло, чтоб ни жандарм его Терехина, ни он жандарма ни в какие вшивые (так и ходят) закоулки не кидал бы? Хорошо этому Зильберману, он и тогда и теперь сидит, а вот ты оставь «принимая во внимание», начни сам сажать! Думал Терехин, но ничего кроме белиберды выдумать не мог.

Думал он и весь следующий день, старательно обходя дискуссии с Зильберманом, который все боялся не упомянуть о некоторых самых важных доводах, отмеченных на последней областной конференции. Своей судьбой он совершенно не интересовался, и хоть Бугачева сменил Кривич, добряк редкий, не сделал никаких попыток свое положение разъяснить и выйти из тюрьмы.

Снова пришла трудная ночь, с теми же срочными, но невозможными томлениями. Под утро, что-то переломилось внутри Терехина — надорвалась душа, или просто не в меру устал человек, но сдался он, от дерзости розысков самой сути отступил. Понял одно, что зла ему не одолеть и мира, (да, да, не семью, не городок наш, не Россию, уж если не себя, то обязательно мир) не спасти. Тогда он удерет, «сдрейфит», как самый мелкий меньшевик, откровенно, не стыдясь даже. Да! не хочет он строить дома, —прекрасный, светлый, лучше всех домов, что строили люди, — ибо будет в нем одна комнатка, пусть самая маленькая, но будет же — для нового Емельича. Лучше

здесь сидеть, ниспровергать, протестовать, много легче, спокойней. Даже от одной мысли этой охватил Терехина такой покой, что пристроив голову свою к колючим коленкам куцого Зильбермана он уснул, спал долго, проспав утренний кипяток, вынос параши, баланду и проснулся только от робкого, но беспрестанного шепота Емельича: «товарищ председатель, простите великодушно, девочка у меня при смерти, не мог отлучиться».

Увидя, как грозный Емельич лебезит перед новеньким, старик, сидевший за «оскорбление», кинулся тоже к нему и стал умолять старость пощадить, «явить Божескую!»

Со сна не сразу очухался Терехин от этих жалоб и извинений льстивых, а сообразив, что больше не спит, и страшная минута, которую ждал он в трепете две ночи, наступила, мягко, но с твердостью безусловной сказал Емельичу:

«Я никуда не пойду, но останусь здесь!»

«Как же это возможно? простите вину мою! Девочка отходит уж, дух испускает, — ослабел я. Вас ищут то — весь город всполошили, к исполнению обязанностей не дождутся».

Озлился Терехин от сладости елейной, не сдержался:

«Иди к черту! Я никуда не вылезу отсюда! Я не председатель больше, заговорщик, вот как! Ниспровергать хочу!»

Хоть и сознавал свое преступление Емельич, знал не погладят по головке, но делать было нечего, явно Терехин или задумал против него страшные козни, или с перепугу рехнулся, побежал бедняга в «чеку», да сразу сообразил, по важности, все четыре простых минуя, в «ОО». А пол часа спустя заведующий «ОО» лично явился в камеру. Но Терехин, не признавая ни партийной дисциплины, ни дружбы давней, стоял на своем: идти на волю не хочу и с особенной любовностью повторял «ниспровергаю». Тогда на радость всей белгвардейской банды, часовые вежливо, но крепко, под руки подхватили Терехина, вывели и усадили в крытый автомобиль.

«Товарищ Валентин переутомился от работы послед-

них месяцев, четыре кампании и еще эти выборы на съезд», сказал заведующий «ОО», «мы его отвезем в Дом Отдыха».

Что ж, справедливость восторжествовала! Дорого обошлась Леонелла Емельичу, отплевываясь злобно, вспоминал он ее телеса в «чеке», ожидая грозного допроса.

Выпустили к вечеру всех заложников, и взвыла дьячиха, увидав в окне незабвенную косичку:

«Святители Преблагие! Отец Иона или привиденье дьявольское?» ибо была убеждена, что от этих «извергов» никто живым не выходит, даже панихиду заказала за упокой души.

Недели две только и было разговоров в городе, в учреждениях, в очередях, на всяком крылечке, что о пропаже диковинной, о террористе Емельиче и о покаявшемся грешнике Терехине. Сколько легенл развели!

Емельич, видите ли, был подкуплен румынами или японцами в предвидении дессанта (а от нашего города до моря, ох, как далеко!). Даже не только Емельича, через Леонеллу самого Чуба, который от ревности и срама больным прикидывался, тоже пристегнули. Терехин, оказывается, хотел себя диктатором объявить и «порядок подлинный» завести. Сбежал он и теперь с повстанцами идет наш город осаждать. Все это, разумеется, чистейший вздор. Сидит Терехин в лечебнице, бывшей Фекельштейна, сидит тихонько, бежать никуда не пытается, только каждое утро, проснувшись, высовывается из окошка и кричит на петуший манер «ниспровергаю»!

Теперь надоело всем, бросили, а нового ничего не приключается. Вот может быть к первому маю и вправду «излишки» отбирать будут, или амнистию, что ли, объявят, все-таки разнообразие, а то со скуки умереть легко . . .

«УСКОМЧЕЛ»

«УСКОМЧЕЛ»

Хорошо будет другим историю писать: перенумеруют документики для порядка, разложат на столе просторном стопочками и пойдет «историческая неизбежность», наборщикам на утешенье. А вот у нас в Москве, до сих пор еще многие коммунистов не за людей почитают, а за крокодилов на шарнирах, в наказание, телеса до пупа обнажавшим и голубей (Духа Святого поругатели!) пожиравшим с горошком, ниспосланных. Конечно, галиматья явная — только и услышишь ее где-нибудь у лабазника бывшего на Вшивой Горке, — люди коммунисты, как и прочие, с причудами всякими нашей породе свойственными. Есть и умники, так Лойд-Джордж к ним в приготовительный и просится, есть звезд не хватающие, но честно по директивам на свадьбах причитающие, на похоронах трепака выводящие, есть прямо подвижники, от «пши» прелой сами запревшие, на подобие Серафима Саровского баню средь духовного подъема презирающие, есть и снобы, после трудового дня сигарку почитающие не за грех выкурить, с галстуками такими, что сам Брюммель бы ради оных «сочувствующим» стать не отказался; а есть и совсем обыкновенные — пока такой до декретов не дорвется, никто его за коммуниста не примет, человек, как человек, даром что билет эркапевский в кармане.

Вот таким с виду невыразительным был и товарищ Возов, хоть стоял он на верхушке государственной пирамиды, там где стоя день и ночь балансировать приходится, совнаркомщик безусловный! А посмотреть на него, ска-

жешь интеллигент, скорее всего саботажник. Одна бородка недосевная, в минуты патетические энергично выкручиваемая — чего стоит, честная народничесая бородка, так и сочатся из нее добродушие, этика, стихи Некрасова. Обманчивая видимость, ибо хоть Возов и предпочитал в душе «музу гнева народного», т. е. Некрасова в приложении к «Ниве», всем современным выкрутасам футуристическим, хоть и добродушен был до крайности, как Магомет кошки не потревожил бы зря, хоть и без этики дня прожить не мог, и в высь ударяясь, т. е. в билет эркапевский новый декалог вписывая, и в буднях честность блюдя, никогда чужими папиросами на заседаниях не пользуясь, но при всем этом был Возов не эс-эром белотелым, а чистой крови коммунистом, так что каждый эс-эр его бы с удовольствием ухлопал, если б цека ихний не запретил бомбами швыряться по соображениям дипломатии особой.

Но вот стряслась с Возовым беда, и кто знает, не те же ли эс-эры всю хитроумную махинацию задумали? Очень они простодушны, на крылечке славянском об общине мирно калякают, а что при сем думают неизвестно. Словом эс-эров ли козни, или стечение обстоятельств неблагоприятное, но приключилось с Возовым нечто весьма странное и печальное. Началось все вечером 23-го февраля 1921 года, в одной из комнат Николаевского дворца, где помещался рабочий кабинет Возова.

Мирно спала Москва, поеживаясь, калачиком свернувшись под рваными стегаными, байковыми лоскутными одеялами, под тулупами вонючими, под всякой дрянью горой накиданной, спала не думая о феврале 24-м, ибо никаких заговоров, празднеств, даже выдач значительных не предвиделось. Но отнюдь не о сне благодетельном думал Возов, хоть тяжелели веки — шестую ночь бодрствовал человек, все работал, работал. А в чем собственно выражалась работа эта — трудно сказать по сложности многоликой, дерзанию невероятному. Будь Возов наркомом Проса, т. е. Просвещения, ясно, что он за шесть ночей

не менее тысячи школ накрутил бы, ведай путями сообщения, опять таки сомнения не было — так и сновали бы по столу дубовому электрические поезда, но Возов определенных функций не имел, а ум свой всеобъемлющий ко всякой диковине прикладывал. Какие только проекты и сметы не безумствовали нолями миллиардов пред припухшими от бессоницы вечной глазами. Сразу думал он и о воспитании соответствующем, немедленно в производство дитя вгоняющем, и об единомыслии необходимом всех людей, «рабочую оппозицию» и чувашей включая, и о регулировании грядущем рождений, в беспорядке свершающихся и о многом ином, действительно титаническом, так что выражаясь языком религиозным, хоть и неприличном в Кремле красном, но приспособленным именно для однородных случаев, можно сказать, что Возов, отделив свет от тьмы, творил немудрствуя мир.

В вечер стоял несчастный, Возов, мысли последние закончив, почувствовал необходимость синтезировать напряженные поиски свои, и как всякий честный коммунист новое творящий, принялся рисовать организационную схему. Рисовать он правда не умел, вместо кругов получались груши с хвостиками, а вместо квадратов круги, т. е. бублики поломанные. Но красивые схемы делает одна мелюзга, заведующий секцией живописных музее в Пензе, например, или начальник информационного подотдела шахматного спорта при тверском Всевобуче; там месяц с готовальней не разлучаются, не жалеют акварели, прямо картина выходит, так что пензенский ее, к слову будь сказано, покушался даже, в музей за отсутствием экспонентов перетащить. А серьезные работники схемы чертят на спех, нервность и срочность выражая, не для красоты пластической, а исключительно для закрепления важнейших открытий.

Итак Возов рисовал схему, но не учреждения какого-либо, не новой канцелярии, а самой сердцевины бытия — жизни человека, не безалаберного лодыря, разгильдяя кутерьмового — нет, осмысленного, регулированного

человека. Начиналась она с единого центра, вырабатывающего точно разверстку детей по губерниям и областям. Разбивалась в многогранности функций на сотни треугольников с ребрами труда, развлечений, отдыха и снова впадала в широкие ворота проектируемого по электрификации общей грандиозного крематория. Выходило изумительно; без заминки, без заковырочки пробегали люди по всем этапам, ни заблудиться, ни улизнуть никто не мог. Кончив работу, восторженно подумал Возов: вот он усовершенствованный коммунистический человек, по привычке слова сократил, так что вышло «ускомчел» и закрыл усталые глаза.

Через минуту открыв их, увидел он напротив себя самого себя, тоже с бородкой и деловитого. Больше удивленный, нежели испуганный, и сходством разительным и появлением неожиданным в столь поздний час, Возов запросил субъекта:

— Вы, товарищ, кто такой?

Субъект же, сцапав мимоходом портфель со стола, ответил:

— Я? Возов — ускомчел. А теперь мне пора по ниточке в следующий ромб переходить.

И здесь случилось наименее правдоподобное, а именно ускомчел исчез сразу, не подходя к двери и не пользуясь окошком. «Переработался», подумал Возов, «надо беречь все же себя, во имя дела». И взглянув на план вырисованный, уже лежа, еще раз прошептал:

«Здорово! Ускомчел! Только бы рабочая оппозиция не затеяла дискуссии».

Поспал хорошо товарищ Возов, и хоть прыгали во сне диаграммы, но на приличном расстоянии, отнюдь не тревожа. Зато пробуждение было неприятное: в одиннадцатом часу настоятельно забарабанил телефон и сонный в кальсонах пробурчал Возов: «Алло!»

Басок черезчур знакомый, ответил:

— Кабинет товарища Возова? Примите телефонограмму. Единогласие отправлений установлено, рабочая оп-

позиция ликвидирована, приступлено к ректификации черепов чувашей. Записали? Кто принял?

Возов спросонок, не вникая в суть, ответил:

— Принял Возов. — Для порядка больше спросил:

— А кто подал?

Басок с предупредительностью, по слогам отчеканил:

— Подал Возов Ускомчел, — и трубку повесил.

Остался текст телефонограммы, явно нелепый и еще воспоминание о какой-то ночной ерунде. Кто это пакостит? Уж не телефонная-ли барышня? подумал Возов раздраженно, потом решил козни разрушить, т. е. ничего не замечать, а поспешить на заседание особой комиссии.

Поспешил, но все же опоздал, к концу попал. Председатель как раз перерыв объявил, для составления резолюции. К Возову подошел товарищ Вуль и льстиво сказал ему:

— Я ведь совсем не в рабочей оппозиции. Прекрасный доклад вы сделали, ну кто теперь возразить сможет?

— Какой доклад? — взволнованно спросил Возов, — Я только что приехал, вы верно меня с кем-нибудь спутали.

Вуль решил, что Возов балуется, успехом довольный, и хихикнул:

— Да! Спутаешь вас с кем-нибудь! Вы как вцепитесь тезисом . . .

— Вздор! Вздор! — кричал Возов, — какие там тезисы, говорю вам я проспал, заработался. О чем резолюция? Только толком говорите! . .

— О вашем проекте организовать Ускомчел.

Возов испуганно выбежал. Черт возьми! Ведь кто-то его нагло мистифицирует. Значит вчера не приснилось, решительно какой-то прохвост шлялся и портфель с проектами стянул. Но как он мог в Кремль без пропуска прошмыгнуть? Возов побежал к будке у ворот и запросил кому пропуска выдавали вчера ночью. Оказалось прошли в Кремль; курсант Плешко, 22 лет, и гражданка Учелищева, к заведующему клубом. Возов усомнился — уж не

болен ли он, расстройство может, выдумка, вздор. Тогда надо в руки взять себя. И опять, решив забыть происшедшее, отправился он в столовую Совнаркома. Но забвения никакого быть не могло, ибо заведующая не только заявила ему, что он уже пообедал, но еще прибавила, что вполне с ним согласна касательно замены битков с картошкой конденсированными калориями, (заведующая курсисткой была и знала даже почище слова). Возов ужасно застыдился: вот она вздумает будто он хотел съесть еще один биток и, не пробуя оправдываться, побежал прямо к себе с твердым намерением либо вылечиться сразу, либо преступника изловить.

Дома он заперся, снял телефонную трубку и начал себя убеждать что он Возов — один, учился в нижегородском реальном, из шестого был выгнан, в 1907 провалился, дельный, умный, эркапэ, других нет, вздор, пять ночей не спал, и прочее. Успокоившись, снова уснул, недоспанное сказалось, и проснулся поздно вечером, безо всяких звонков неприятных, свежий и крепкий. «Ну, вот и вылечился», потягиваясь крякнул Возов, утренние страхи припомнив.

Но собравшись снова на вечернее заседание, Возов увидел, что лечись не лечись, портфеля с проектами не было. Ясно, здесь не декадентство какое-нибудь, с двойниками мистическими, а самый паскудный заговор. Еще раз под стол слазив и обшарив углы, не обронил ли он ночью портфеля злополучного, Возов подошел решительно к телефону и спросил по прямому проводу кого нужно, но когда услышал строгое деловое «Алло! Коммутатор Вечека», вдруг сконфузился, и ничего вымолвить не мог. Ну, как объяснить, что заговорщик не вышел в дверь, а исчез, будто кинематограф это, что он обед слопал и еще про калории что-то набубнил неподобное? Смехота и только, серьезные люди, занятые, обидеться могут! . . .И не назвавшись, Возов бросил трубку.

Был готов Возов снова смертельно расстроится, но вызволила мысль пойти к Тане Яншиной, дочери цекиста

почтенного, жившей в соседнем монастыре, в бывших покоях игуменьи. Хоть и неприятно, когда говорят о людях в шесть дней Творцу на зависть мир созидающих, обычных человеческих страстей касаться, необходимо здесь для освещения всего печального инцидента прямо разоблачить, что не только не был Возов к Тане равнодушен, но даже попросту влюблен, слепо и неистово, несмотря на тридцать четыре года и эркапесистость, совсем как пятиклассник какой-нибудь, или того хуже, тургеневский лодырь.

Вот еще занятие вполне приличное для внучат наших — пока историк будет декреты старенькие, точно ежи полысевшие, совсем не страшные, неспеша комментировать, примечание на примечание нанизывая, романист займется бытом вокзальным, закулисным пафосом, воистину, циклопическим шурымурством великой эпохи. Бог его знает, какое умозаключение под конец выпотеет — об упадке нравов или о воскресении неожиданном, постниками умученного Эроса, во всяком случае откроется перед глазами потомков новая Москва, не только схемы вычерчивающая, но еще способная целоваться взасос в героических антрактах, между двумя сальте-мортале декретов неожиданных, восстаний, боев, мировой суетни, и прочих революционных будней. И кто знает, не позавидует ли девушка другого счастливого века, в теплице избытком одуряющей, тем усталым, голодным, подчас кровью замаранным, или смерть ожидающим, которые срывали в дикой Москве скудные, минутные, трижды святые цветы любви, почти что невозможной? . .

Впрочем, все это, конечно, относится ко временам далеким, а пока что подобными обобщениями не задаваясь, быстро шел по пустынной площади Возов к Тане, к Тане ненаглядной, милой, с родинкой на шее, с улыбкой такой детской, что кажется вот-вот цекист почтенный и то не выдержит от такой простой необычайной радости, запляшет сдуру или расплачется, к Тане, неумевшей даже большевика от меньшевика отличить, но от одного слова

которой забывал Возов все диаграммы свои, и сам, как ребенок, детские прозвища повторял, хлопал в ладоши или просто тихонько сидел, боясь шелохнуться, чтоб не рассыпалась Москва, монастырь старенький, Таня, любовь, любовь всегда и везде хрупкая, как спичка на ветру, а здесь в эти дни столь необъяснимая, что нечеловеческие руки могли лишь укрыть ее от заметающей мир вьюги.

Войдя в низенькую беленую комнату, где табачный дым, кипы газетные, портреты неистовцев всего света как бы смешивались с невыведенным запахом ладана, с духом акафистов, чая липового и вздохов скоромных, образуя один туман веры, дикой алчбы, духоты, Возов успокоился мгновенно, о портфеле и ночном налетчике даже не вспоминая. Жадно глядел он на боковую дверцу, откуда должна была выйти Таня. Долго ждал. Часы на башне одиннадцать прозвонили. Наконец вышла Таня, заплаканная, сгорбившись, кутая в большой платок вздрагивающие плечики. Со вчерашнего дня как переменилась! Будто шла и шла, пела только, а вот выскочил кто-то, навалил ей на плечи ношу, двум такой не снести —, сломалась, идти пробует, с непривычки, что ни шаг, хочется на земь упасть, заплакать: не могу! Вскочил Возов:

— Таня, что с тобой? Иволга моя родненькая!..

Но горько отстранилась Таня:

— Зачем вы снова пришли?

«Снова!» Страшное, не понимая еще, почувствовал Возов, в голове ветром закружились квадратики, кружки, тяжелый с замочком портфель.

— Я теперь все поняла. Вам не нужна любовь, только разверстка зачатий, пробирки химические. Чужой вы мне, может все это так, прекрасно, верно... Когда вы ушли под вечер я сбежала по лесенке, окликнула еще вас, вы не слыхали, но это по слабости, — не вас, другого, вымышленного, не бывшего! А вы не нужны мне! Простите!

И еще более склонившись под ношей новой, вышла Таня из комнаты. Выбежал и Возов, шапку оставив на вешалке, прямо во двор, на площадь, стараясь безмерную боль и ужас не выдать звериным отчаянным воем.

Снег падал, заметая мертвый пустой Кремль. Силились одолеть его слеповатые окошки кабинетов, где другие, еще здоровые и покойные, чертили стоэтажные схемы. Но белые, крупные, беспрерывно падающие хлопья душили крохотные огоньки. Только камни вздымались бойниц оскаленных, стен крепкобоких, кресты колоколен, будто изуверы на костре вздымающие свое двуперстное знамение, жизни, силе, солнцу, железу наперекор.

Возов сел на тумбу у собора Двенадцати Апостолов. Он больше не сомневался, не надеялся вылечиться, не помышлял изловить врага. Потеряв сейчас там, в беленькой горнице, самое важное, невозвратимое, он тихо, бесслезно плакал, а снег заносил его, желая стереть, смыть эту живую, чужую точку средь дивной пустыни. Древний Кремль как бы надвигался на Возова, довлея темным посмертием, вчерашним неоплаченным грехом. Из маленьких часовенок, церквей закоулчатых, низкосводчатых, из покоев царских и княжеских, с монахами, попивающими чаек у цариц, с замурованными, ослепленными, с огромными душными постелями, где ерзали на телесах порфироутробных монахи после чаепития, — выползал желтый, жаркий туман. Это шла на пришельца Русь — молитвенница похотливая, каторжанка гулящая, крест на пузо, мир объедавшее, нацепившая, смиренница, молчальница, изуверка нежная.

Знал Возов — от нее не уйти. Разнюхает, вытащит, навалится большегрудая. Хотел он в страхе, будто пустынник крестом, оградить себя тем, что еще недавно было живым, необоримым — миром им сотворенным, своим державным «да будет свет». Вспомнил он чудную схему, волей безумной вытащил из завьюженного белого города, чуть вздыхавшего шагами редкими за Москва-Рекой, грядущую жизнь. Но тогда началось самое ужасное.

Огромные, стеклянные дома, бетонные городища, пружинистые люди, скакуны в квадратных рубахах, смешались с игуменьями, с кельями, с подворьями, с былой полнотелой, любодеянной, кровавой суетой. Люди мигом насиживали просторные квадратики, и становились они уютными, жаркими, смрадными как монашьи норы. Какие-то разгульные юнцы прорывали треугольники, а баба (хоть и профессор), голося над упокойничком, роя землю ногтями, разрыла подконец, раскидала последний безукоризненный круг смерти. Новое было в явной стачке с прежним, так что стерлась между ними грань, и пошли безобразить у Чудова разновековые двойнички. А снег все валил, едва торчала над ним косматая голова соглядатая живого, бедного ребенка, чей яркий шарик, купленный за пятак на Девичьем, сморщился, завял, приник к земле, члена эркапэ,товарища Возова.

Так бы наверно и замерз он на несоответствующем месте, если б не услыхал над самым ухом насмешливого баска:

— Что ж, товарищ, теперь переезжайте по крайней ниточке в крематорий, будьте ускомчелом.

— Стой! — отчаянно закричал Возов и кинулся за мерзким комедиантом. Но тот, подпрыгнув высоко, как вчера, исчез, расплылся в желтом небе.

Но не хотел на этот раз уступить одураченный Возов, не задумываясь полез он на холодные, скользкие камни Ивана Великого, карабкаясь по обезьяньи, завывая:

— Я тебя не выпущу! — А сравнявшись с куполом Благовещенским, не выдержал, оступился, тихо, будто снега ком, соскользнул вниз.

Что это? Эс-эровские козни? Усталость от работы беспримерной? Или тяжкий отравный дух былой златоверхой, святошной крепости, где засели, у ворот посты выставив, разведчики иного века? Все может быть!..

А главное, зря погиб дельный работник, хороший человек. Когда хоронили его 26-го февраля, сказал товарищ Вуль прочувствованное:

— Ему не суждено было войти в землю обетованную, хоть и был он истинным человеком коммуны.

Все присутствующие слышали тогда, как кто-то сзади за гробом, венком помахивая, всхлипнул в ответ:

— Ускомчелом!

СОДЕРЖАНИЕ

Один из русских писателей, И. Эренбург, изобразил в рассказе «Ускомчел» (Усовершенствованный коммунистический человек) тип одержимого этой болезнью [т. е. «революционного» сочинительства и «революционного» планотворчества] «большевика», который задался целью набросать схему идеально-усовершенствованного человека и... «утоп» в этой «работе». В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно охватывает болезнь — это несомненно. Но никто, кажется, не издевался над такими больными так зло и беспощадно, как Ленин.

И. В. СТАЛИН, *«Вопросы ленинизма»*.